

Дина Рубина

Кокситель

Дина Ильинична Рубина Коксинель (сборник)

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=11284010
Коксинель / Дина Рубина.: Эксмо; Москва; 2014
ISBN 978-5-699-72923-4

Аннотация

С возрастом, когда успокаивается телесный жар, когда слово «страсть» обретает иные смыслы и может означать не только любовную лихоманку, что треплет тебя днями и ночами... – с возрастом драгоценное чувство любви настаивается, как вино. Ты обретаешь зрение и можешь ощутить наконец осторожное послевкусие любви – а оно бывает таким разным! С возрастом любовь взрослеет, умнеет, память ее обрастает целым каскадом смыслов, жестов и слов. Это уже не мимолетная песенка, это симфоническая поэма зрелого чувства, это годы, вобравшие в себя все улыбки, морщинки, пряди покрашенной седины... Все расставания, предательства и провалы. И все же бывает – где-нибудь далеко от дома, в чужой стране, увидишь сценку, ссору, гримасу боли на незнакомом лице, независимую походку оборотня-коксинеля... и сожмется сердце: вот оно, наказание; вот мстительная беспощадная сила любви. Незабываемой, непрощающей, горькой... И все-таки милосердной.

Содержание

Высокая вода венецианцев	4
Джаз-банд на Карловом мосту	35
Коксинель	50
Конец ознакомительного фрагмента.	63

Дина Рубина

Коксинель

Высокая вода венецианцев

Рenate Мухе

Она догадалась за несколько мгновений до того, как Юрик взял в руки протокол рентгеновского исследования. Просто: вдруг поняла. Такое с ней изредка случалось за игрой в преферанс, она внезапно понимала – *видела* – карты в прикупе.

Собственно, плохое заподозрила она раньше, когда конверт со снимками не выдали на руки. И сейчас, сидя на кушетке в ординаторской, отметила, как завис в руке у Юрика этот подробно исписанный листок, отделился, обозначился роковой вестью.

Он продолжал всматриваться в написанное, как будто мог вычитать что-то еще, опровергающее, намекающее на некий чудовищный розыгрыш... В эти несколько секунд она смотрела в его лицо жадно, отчаянно, пытаясь уцепиться за взгляд, как цепляется побелевшими пальцами за карниз человек, выпавший из окна восьмого, скажем, этажа.

– Кутя, – проговорил он наконец (она бессознательно отмечала движения твердых бледных губ столько лет знакомого лица), – тут такое дело... Он видит единичный метастаз в легком... Значит, будем искать источник... будем обследоваться... Завтра «построгаем» тебя на «сити», и... речь, видимо, пойдет об операции... ну, сама понимаешь...

Хорошенькую они тут себе взяли моду – сообщать пациенту диагноз. Проклятая этика западной медицины... Впрочем, он и не смог бы от нее ничего скрыть... Слишком прямо смотрит в глаза, молодец, выбрал достойный тон – озабоченный, но без паники... такое профессиональное спокойствие. Наверняка трусит. Он и на контрольных всегда был абсолютно как бы спокоен, особенно когда не знал темы.

Разумеется, ее звали не Кутей. Это была школьная кличка. Во втором классе осенью она приволокла с улицы щенка – мокрого и дрожащего. Носилась с ним по школе весь день, тиская и подвывая: «Ку-у-тя, ку-у-тя...» Щенка назвали Артуром, он вырос в громадного пса и прожил в семье шестнадцать лет, застав еще ее дочь, которой тоже уже...

Да, а кличка осталась.

Стоп, но ведь это может быть ошибкой. Мало ли чего видит там этот парень. Подумаешь – рентген!

– Это может быть ошибкой! – сказала она, рывком подавшись к нему с кушетки и по-прежнему жадно следя за его губами. – Юрик, мы знаем миллион таких случаев. Скажем, туберкулез... Его часто путают с...

– Да-да, – сказал он, – да, конечно!

И не выдержал. Обнял, крепко прижал к себе – это была единственная возможность укрыться от ее истошно орущих глаз – и повторил:

– Кутя, Кутя... только не дрейфь, все будет хорошо... Найдем источник, прооперируем...

Она оттолкнула его, ударила кулаком в грудь, закричала:

– Какого черта вы суете мне под нос ваш вонючий диагноз! Ублюдки! Зачем мне знать, что я скоро подохну?!

Бросилась прочь от него к двери, но сразу вернулась, вцепилась в отвороты халата:

– МИША! НИЧЕГО! НЕ ДОЛЖЕН! ЗНАТЬ! Ты понял? Ничего!

На Юрика жалко было смотреть. Он совершенно растерялся.

– Но это нельзя, нельзя! Тебя надо срочно обследовать! Завтра ты должна быть здесь, на компьютерной томографии... Успокойся! – Он сильно сжал ее руки. – Кутя, черт бы меня побрал... Подожди, я отпрошусь, отвезу тебя домой.

– Отпусти меня на неделю, – сказала она, задыхаясь, – дай неделю!

– Исключено.

– Пять дней! – крикнула она. – Дай продышаться!

С детства никогда не мог он устоять против ее характера. И это знали они оба...

– Но в понедельник, в восемь, ты должна быть здесь!

– И насчет Миши... Ты понял?

– Ну, хорошо, – измученно согласился он, – но в понедельник, в восемь...

...Вдруг она обнаружила себя на скамейке с банкой диетической колы в руке. Значит, вышла из здания клиники, подошла к киоску... протянула деньги... что-то сказала... ей дали сдачу... И все это – минута сознания?!

Стоп! Так можно черт-те до чего дойти...

Она огляделась. Несколько молоденьких кружевных акаций образовывали скверик... На скамейке напротив девушка, из религиозных, читала карманный молитвенник, шевеля губами...

Солнечный иерусалимский полдень, третье ноября, вторник... Жизнь, в сущности, кончена... Да-да, будет, конечно, и пятнадцатое, и двадцать пятое ноября... Не исключено, что будет какое-нибудь шестое апреля, но уже из окна комнаты – уголок, скажем, неба, если повернуть голову на подушке... Какие-то мечущиеся мысли: надо звонить куда-то – куда? Сообщить кому-то – кому? О чем? Что-то важное доделать – что?

Что могло быть важнее и окончательнее того, о чем она узнала пять минут назад? И откуда идиотское ощущение, что даже это – не конец? А что же? На что ты надеешься и какие эксперименты собираешься проводить там, на небесных мышах?

Кстати, о мышах.

Она отыскала в сумке телефонную карточку, на обороте которой был напечатан текст национального гимна. Карточка изрядно попользована. Ничего, на две минуты хватит. Она зашла в ближайшую телефонную будку и набрала номер лаборатории.

– Юля, слушай внимательно, я с улицы, и карточка тает. – Это было необходимое вступление. Общительную аспирантку Юлю следовало нейтрализовать с первого вздоха. – У меня серия рассчитана на неделю, осталось три дня, а мне необходимо исчезнуть. Молчи! Слушай! Я знаю, что ты колоть не сможешь, но упускать нельзя ни в коем случае. Так попроси Володю с третьего этажа, он знает, он заколет. Это лысые, те, что сидят в блоке двенадцать. Образцы в холодильнике слева, на полке... Поняла?

Юля вскинулась что-то объяснять, спрашивать, извиняться...

– Юля, цыц! У меня кончается карточка. Тебе все ясно? Два слова – как там дела?

И Юля, вымуштрованная ею, как солдат на плацу, ответила что и полагалось отвечать:

– Все хорошо, они умирают!

И, оглушенная этой фразой, этим привычным их девизом, минуты три она стояла в телефонной будке, не в силах повесить трубку на рычаг.

...И вновь застала себя на той же скамейке... Да что ж ты, как коза на привязи, освоившая свой безопасный ареал – лужок с уже изглоданными кустиками, – возвращаешься и возвращаешься к знакомой скамейке... Проклятье! Откуда это малодушие, эта дрожь, этот детский липкий ужас?!

– Ну, умрешь! – громко сказала она вслух. – И черт с тобой. А ты как думала? Моцарт умер, а ты будешь вечно живая?

«И Моцарт, – подумала она, – и Моцарт, и кое-кто еще, и кое-кто другой, о чем не учат в школе...»

Она сидела в своей привычной позе: лодыжка согнутой левой ноги на колене правой. Дурацкая студенческая поза, пора изживать, доктор Лурье. Да ничего уже не пора... из-живать. Ибо вот, ты прожила свою жизнь, так и не сменив потертых джинсов на что-то поприличнее. Доктор Лурье.

По тому, что руке стало жарко (солнце переместилось влево), она поняла, что сидит так, по-видимому, уже долго, рассматривая свою загорелую щиколотку сквозь припыленную кожаную плетенку босоножки. Лак на ногтях пооблупился, надо бы снять и покрыть свежим. Она положила ладонь на эту – свою и как бы уже не совсем свою (а чью еще? что за новый хозяин объявился вдруг в ее целиком ей принадлежащем теле?) – тонкую щиколотку еще молодой женщины. Да-да, тридцать девять, хороший возраст... Хороший возраст для неконтролируемого деления раковых клеток.

Немедленно встать!

Она поднялась со скамейки...

Теперь куда же? Хорошо, что есть время до вечера, пока Миша придет с работы и спросит, была ли она у Юрика и что тот считает надо делать с ее вечными бронхитами...

Она сглотнула воздух. Уже несколько раз с того момента, когда, не глядя в листок, исписанный рентгенологом, она вдруг *увидела* диагноз, – несколько раз за утро плотно ощутимый комок ледяного бабьего ужаса взмывал из желудка к горлу и застревал так, что приходилось сглатывать.

Нет, нет, все вздор! Сотни людей излечиваются. Ну, не излечиваются – *тебе ли не знать!* – под... подлечиваются. Во всяком случае, еще какое-то количество лет живут дальше, работают, любят, путешествуют...

Путешествуют...

Минут через двадцать она уже сидела в кресле перед столом, за которым ее знакомый турагент Саша элегически перебирал клавиатуру компьютера, рассеянно – так казалось со стороны – поглядывая на экран. На самом деле Саша был профессионалом и видел все.

– Вот, например, – сказал он лениво, – Амстердам, сто девяносто девять, послезавтра.

– Не годится! Я же сказала, Саша, мне надо уехать сегодня.

На людях – и она это с удивлением отметила – ей стало гораздо легче. Мир вокруг нее восстанавливался, собирался, как пазл, заполнялся голосами, звуками улицы, разумными действиями людей. Мир был прекрасно обустроенным, привычным уютным обиталищем, цельной картиной, в которой и она была значительной и необходимой деталью, а значит, не могла не существовать и впредь.

– Ага! – вдруг воскликнул Саша с явным удовольствием мастера, любующегося результатом своих усилий. Он даже ласково прошелся ладонью по клавиатуре, как по холке любимой призовой кобылы. – Вот то, за чем я охочусь! Добро пожаловать в Венецию!

– А там не холодно сейчас? – спросила она, уже понимая, что – конечно, конечно Венеция! Именно Венеция! Как она могла жить до сих пор, ни разу не быв в Венеции! – А что там – карнавал?

– Да нет, – сказал Саша, – карнавал же в феврале. Но сейчас огромные скидки на билеты. Осень, не сезон, возможны наводнения... Возьмите куртку. Я попытаюсь заказать номер в недорогой гостинице в центре, есть такая – «Аль Анжело», прямо на площади Святого Марка.

А она уже вцепилась в эти так сладко звучащие имена, уже поплыла им навстречу, уже поверила, что все будет хорошо сейчас, немедленно и навсегда.

– Черт возьми, Саша! – воскликнула она. – А вы знаете, что в институте два года подряд я брала факультатив итальянского? Да-да! Ни черта, правда, не помню, но где-то у меня валяются учебник и словарь... Мне нравится этот поворот событий, – сказала она решительно. – Мне... ми пьяче. Ми пьяче, Саша!

– Ну вот, видите, как славно, – сказал Саша, сам донельзя довольный. – Я заказываю... Вы успеваете. А билет вас будет ждать в аэропорту, на стойке регистрации.

...Дома она столкнулась с дочерью, хотя надеялась, что успеет улизнуть, оставив веселую извинительную записочку. Впрочем, подумала она, так даже лучше. Миша не будет настолько потрясен и испуган ее необъяснимым отъездом, если сейчас удастся *запудрить мозги* ребенку.

Она зашла в ванную, включила воду и распустила волосы, что всегда требовало некоторых строительных усилий: невероятное количество заколок и шпилек держало в каком-то пристойном порядке ее густые длинные волосы редчайшего природного цвета – темно-золотистой меди, того благородного пурпурного оттенка, который невозможно назвать ни рыжим, ни красным, ни просто каштановым... Разделась и встала под душ.

– Ну, что сказал Юрик? – спросила дочь, заглядывая.

– Да так, ерунда... – сказала она, намыливая губку.

– А конкретней? – Дочь унаследовала ее характер, въедливый, настырный, пунктуальный.

– Отвали, – коротко попросила мать, задерживая клеенчатую шторку.

Странно, что дочь – студентка второго курса университета – в это время дня оказалась дома. Не иначе как опять поссорилась с приятелем, этим вялым ничтожеством с бескостным рукопожатием. Девочка утверждает, что он талантлив. Как может быть талантливым человек студенистый, словно устрица? Ее так и подмывало спросить у дочери, чем он трахается. Но Миша, со своим извечным благородством, всю жизнь унимал хулиганские поползновения жены.

– Слушай... – Она накинула халат, завязала мокрый узел волос (серия привычных, почти бессознательных круговых движений пальцев по вколачиванию шпилек и заколок в усмирленного, свернутого кольцами удава на затылке). – Одолжи мне пару свитерков, я тут сбегу от вас дней на пять в более умеренные широты.

– Куда это? – удивилась дочь.

– Не твое дело, – спокойно отозвалась она.

– Ого! – Дочь смотрела на нее с тревожным восхищением. – Уж не романчик ли ты закрутила, бабуля?

Между ними была разница в девятнадцать лет. «Наглая девка», – подумала мать с горьким удовольствием, а вслух повторила коротко:

– Не твое дело!

Дочь помогла ей собрать небольшую дорожную сумку, делая вид, что все о'кей, задавая попутно вполне бытовые вопросы: «А махровый халат берешь?» – «Нет, он тяжелый, положи тот голубой, шелковый», – пытаюсь скрыть свое замешательство. Дочь была ее точным повторением – поразительная копия, с материнской походкой, теми же подростковыми ухватками, той же манерой сидеть задрав ногу на ногу. Вот только цветом волос пошла в Мишу и носила короткую светлую стрижку – и поэтому была совершенно иной женщиной.

– Но у тебя же эксперимент, – вспомнила дочь. – Кто закончит? Юля?

– Да нет, у Юли же аллергия на мышей. Есть там один, с третьего этажа... Ничего, справятся, не маленькие.

– Я вам факсовать буду, – пообещала она, когда водитель такси уже вызванивал ее вниз, к подъезду, – р-романтические эпистолярии...

– Ты что, и телефона не оставишь? – спросила дочь с явной уже тревогой.

Тогда она чмокнула своего единственного ребенка, что случилось крайне редко, и сказала:

– Вот дура, кто ж в таких случаях телефон оставляет!

Дочь внимательно смотрела на нее.

– Но ты отца-то, надеюсь, не бросишь? – спросила она, кривой усмешкой демонстрируя свойский – как бы – юмор. На самом деле совершенно была обескуражена ситуацией.

Ничего, ничего. Лучше так, чем...

– Может, и брошу! – задорно крикнула она, садясь в такси и захлопывая дверцу.

И уже внутри, откинувшись на сиденье, расслабив лицо: брошу, милые. Я всех вас скоро брошу.

* * *

В десятом часу вечера она вышла из здания венецианского вокзала к причалу, где – как ей объяснили в поезде – должна была сесть на речной трамвай, или, как здесь говорили, вапоретто номер один.

Еще в самолете, полистав прихваченный из дому старый институтский учебник итальянского, она обнаружила, что помнит почти все. А что не помнила, то сразу и восстановила. Дедово наследство: его феноменальная память на даты, научные факты, имена и иностранные языки. Любопытно, что оба его сына, люди даровитые, не унаследовали этой цирковой, как говорила бабка Рита, памяти. А вот внуки – и она, и покойный двоюродный брат (классическое третье поколение) – оба в детстве любили демонстрировать фокус: раз прочитанную и тотчас выпаленную наизусть страницу книги.

В поезде она даже заговорила с пожилым учителем физики из Милана и, к удивлению своему, выяснила, что вполне прилично объясняется, а понимает почти все. Но тут сказывались и семь лет музыкальной школы с итальянскими терминами в нотах, и ее отличный английский, и сносный французский.

Минут тридцать она стояла на ступенях вокзала, пытаясь совладать с собой, шагнуть и начать жить в этом театрально освещенном светом лиловых фонарей сумеречном мире, созданном из бликов темной колыхающейся воды, из частокола скользких деревянных свай с привязанными к ним гондолами и катерками, на фоне выхваченных слабым светом невидимой рампы дворцов, встающих из воды...

И позже, когда все-таки, пересилив себя, взяла билет и ступила на палубу вапоретто (словно взмыл занавес и оркестр вкрадчивым пиццикато струнных заиграл музыку пролога чудной таинственной пьесы, главным действующим лицом которой она себя сразу обозначила), позже на каждом повороте канала – едва из сырого тумана выплывал новый, мягко подсвеченный, смутно-кружевной, с черными провалами высоких венецианских окон дворец или вдруг вырастал и черной тенью проплывал над головой мост Риальто – сердце ее беззащитно взмывало, губы приоткрывались, выдавливая тихий стон восторга, и она падала, падала, как в детстве в луна-парке, в сладко охлаждающую живот пропасть...

Она стояла у поручня, возле матроса, который на частых остановках ловко набрасывал на деревянную сваю канат, мгновенно вязал морской узел, подтягивая вапоретто к причалу, и

через минуту, когда одна толпа вываливалась на набережную, а другая торопливо заполняла палубу, так же ловко развязывал узел – трамвайчик отчаливал.

– Вам какая остановка нужна? – вдруг спросили рядом по-русски.

Она повернула голову. Девушка, тот простенький российский тип, который ни с каким иным не спутаешь. На туристку не тянет. Такие в прежние времена стояли за прилавком в овощном отделе.

– Как вы поняли, что я русская? – спросила она.

– Ничего себе! – рассмеялась та. – Вы ж, как вошли у вокзала, все стонете и, извините, материтесь... И бледная такая. Я думаю – может, помочь надо...

– Спасибо, я примерно знаю, куда мне. Площадь Сан-Марко.

– Ну, еще две остановки... Вы в первый раз, да? Это видно. А я здесь подрабатываю в одной семье, детей смотрю. Знаете, ко всему привыкаешь. Все примелькается...

...На Сан-Марко вапоретто опустел почти полностью, и она вместе с толпой и за толпой пошла по мосткам, потом куда-то направо по набережной, натыкаясь взглядом на четырехцветные шутовские колпаки с бубенцами и маски, напыленные жизнерадостными туристами... И вдруг попала в огромную залу под черным небом, под колоннады, мягко и театрально освещенные холодным светом фонарей и теплым оранжево-желтым светом из открытых дверей ресторанов...

И пошла на свет этого праздника, вдоль витрин с горячей, ослепляющей лавиной цветного венецианского стекла, вдоль переливов пурпурно-золотого, лазурного, кипяще-алого, янтарно-изумрудного...

Столкнулась с официантом в белом кителе, с подносом на растопыренных пальцах и, удерживая его умоляющей гримасой, торопливо воскликнула:

– Синьор, пожалуйста, синьор! Где тут гостиница «Аль...» – и забыла вдруг название, беспомощно взмахнула руками...

– «Аль Анжело», – деловито подсказал официант и ловко перебросил поднос на растопыренные пальцы левой руки, а правая заплескалась, как рыба, изгибами подтверждая музыку и очарование латыни: – Дестра, дестра... синистра...

И она ошалело пошла в указанном направлении, следуя плеску чужой ладони, вдоль огромных темных арок, и ниш, и колонн самого собора, в упоении повторяя эту музыку вибрирующим кончиком языка: «Дестра, синистра, дестра...», уже обожая эту площадь, официантов, туристов, искрометные витрины, мягкие шутовские колпаки и мотивчик старенького колченогого фокстрота из открытых дверей полутемного бара...

В переулках за площадью толпа не поредела, а шла плотным медленным косяком, как рыба стая.

Она долго блуждала с радостно колотящимся сердцем, пытаясь найти свою гостиницу по номерам домов, но кто-то бестолковый, а может быть, вечно пьяный пронумеровал дома в непостижимой трезвому уму закономерности... Наконец поверх толпы, над фонарями, над витринами, она прочла разухабистую неоновую вывеску: «У ангела» – это оказался большой шумный ресторан, забитый публикой, и она испугалась, что Саша все напутал и ей теперь некуда приткнуться, но вдруг (все происходило мгновенно, хотя и плавно и нереально, как по течению сна) за углом ресторана различила еще одну боковую дверь и ринулась к ней.

На этой стеклянной двери тоже было написано «У ангела» и для наглядности нарисованы скрещенные крылышки, подозрительно смахивающие на долгопалые, долгопятые мужские ноги...

«Да это притон! – сказала она себе весело. – Меня тут ограбят, убьют, столкнут в канал, и дело с концом. Смерть в Венеции!»

Но за входной дверью оказался небольшой грязноватый холл, проходной, – во всяком случае, мимо то и дело проскакивали официанты из ресторана, – справа в неглубокой нише

приткнулась давно не крашенная стойка, и вверх на этажи уводили узкие высокие ступени, с которых ключьями свисало затертое ковровое покрытие некогда бордового цвета. Под лестницей она разглядела сваленные небольшой горкой дрова. Выходит, где-то и камин был... Все это ее восхитило.

– Синьор, – с ощутимым удовольствием выговорила она почти уже привычно, подойдя к обшарпанной стойке. – Для меня тут заказан номер. – И назвала фамилию.

Забавно, что портье, молодой человек лет двадцати пяти, напомнил ей беспутного двоюродного брата Антошу, погибшего много лет назад от передозировки героина. То же узкое подвижное лицо с густыми бровями, те же «уленшпигельские» складки в углах насмешливого рта и меткий взгляд уличной шпаны.

Он посмотрел на экран компьютера (все-таки эта вездесущая электроника неуловимо оскверняет собой такие вот старинные дома, надо бы запретить...) и любезно улыбнулся:

– Буона сера, синьора. Ваш номер – сто двадцать седьмой. Пятый этаж. Оставьте паспорт, я верну его завтра утром.

Она взяла ключ и вдруг спросила, сама не зная почему:

– Как вас зовут?

Он замешкался, принимая ее паспорт, глянул из-под густых бровей и сказал наконец:

– Тони... Антонио.

Она удовлетворенно кивнула (так легким кивком подбородка поощряет на репетиции режиссер – актера, нашедшего удачный жест или интонацию) и стала подниматься по крутым каменным ступеням вверх.

Ожидая увидеть тесную клетушку недорогой европейской гостиницы, она отворила дверь и замерла на пороге: это была скромных размеров зала с рядом высоких, закрытых ставнями окон, с просторной, в стиле модерн, кроватью, плетеными креслами, зеркальным шкафом... «В чем же причина такой дешевизны? – подумала она озадаченно... – Вероятно, в отсутствии «мест уединенных»...»

Но рядом со шкафом обнаружила еще одну дверь, толкнув которую совершенно остолбенела: еще одна зала, поменьше первой, – огромная, на львиных ногах ванна, биде, два зачем-то умывальника и зеркало в золоченой раме от пола до потолка. Старая стертая керамика, прерывистые стебли по золотистому полю, кое-где треснувшие плитки, но все облагорожено желтоватым обливным светом трех бронзовых ламп. Сказки Шехерезады, таинственный караван-сарай по дороге в Византию.

– Убьют непременно! – сказала она вслух с удовольствием. – Труп выбросят в канал. И дом – притон, и портье – разбойник... Господи, какое счастье, Антоша, Антоша...

Пропавший, так нелепо любимый брат всегда был особой болевой областью ее судьбы. Втайне она считала, что эта боль послана ей в противовес слишком благополучной личной жизни и слишком гладкой, слишком удачной научной карьере. Антоша погиб давно, спустя три дня после рождения ее дочери. «Сгинул ни за понюшку табаку, – говорила Рита, сморкаясь и оплакивая его, буквально – омывая слезами до конца дней, – и все вот эта их Академия проклятая, их проклятая богема...»

Рита, святая душа, неродная бабка, преданная мачеха их с Антошей отцов, – как она любила, как похвалялась своими внуками: один – ленинградский, другая – московская. В детстве они съезжались к ней на дачу в конце мая, после экзаменов. Сначала приезжала на электричке она – с рюкзаком за худыми лопатками, с плюшевой собакой Натой под мышкой... Затем тянулись несколько дней ожидания Антоши, и наконец – с грохотом отворяемого Ритой ставня – наступало утро его приезда. Уже за час они с Ритой маялись по клязьминскому перрону, Рита говорила: «Ох, опоздает, ох, чует мое сердце...» Но вот издали уплотнялся слабый гул, вздрагивал перрон, вылетал поезд, наконец в распахнутой двери

вагона показывался высокий худой Антоша и – «Э-эй, бабки!» – в знак восторга швырял на перрон грязный бокастый рюкзак. Много лет с восхитительного полета этого облепленного вокзальной лузгой рюкзака начинались каникулы...

Несколько минут она бродила по своей патрицианской зале, присаживалась на кровать, на стул... Осваивалась. Пыталась унять странную дрожь.

– А, поняла! – воскликнула она. – Окна выходят на помойку.

Похоже, так оно и было, если хозяева позаботились о том, чтобы ставни всех четырех византийских окон были плотно закрыты. «А вот я сейчас вас быстренько разьясню». Довольно долго она боролась с проржавевшим штырьком, намертво засевшим в отверстии каменного подоконника, и, когда совсем потеряла надежду увидеть в этой комнате дневной свет, штырек выскочил вдруг с визгливым щелчком, облупленная, бог весть сколько лет не крашенная ставня вяло приотворилась – и, толкнув обеими руками наружу складчатые створки, она ахнула, как час назад, на вапоретто, и сквознячок счастья дунул по сердцу.

Окна ее комнаты выходили в улицу-ущелье, дном которого оказалась мерцающая кварцевыми слитками вода канала. Впереди, метрах в ста, круглился мостик под единственным, манерно изогнутым фонарем. Упираясь в здание гостиницы, канал затем уходил вправо, и там его гребешком седлал еще один мосток под двумя фонарями.

В этот момент, как по знаку помрежа, послышались звуки аккордеона, из-под моста справа показался загнутый турецкой туфлей нос гондолы, выплыли сидящие в ней двое пассажиров, вернее, их колени, укутанные ярким даже в темноте пледом, и аккордеонист, разворачивающий мехи. На корме, смутный, в черных брюках и полосатой тельняшке, ворочал веслом поющий гондольер. Над водой разносилась надрывная «Бесаме мучо»...

– О-и! – крикнул гондольер перед тем, как завернуть за угол дома напротив, оттолкнулся от стены ногой в кроссовке и, выровняв гондолу, запел еще надрывнее – работал на туристов. Вскоре гондола ушла под мостик впереди и скрылась, а «Бесаме мучо» с минуту еще догасала в воздухе...

Она отпрянула от окна, сказав себе:

– Нет, этого не может быть!

Дикая мысль, что ее *послали сюда затем, чтобы...*

...ступить, шагнуть с подоконника посреди этих оперных декораций – уйти на дно лагуны, раствориться в гобеленовой пасторали лодочек и гондол, исчезнуть... словом, *отколоть номерок...*

– Ну, довольно! – приказала она себе. – Принять ванну и спать, и там будет видно – что представляют собой эти декорации при дневном свете.

Она разделась, пустила воду и, присев на краешек ванны, вынула заколки, привычно повела туда-сюда закинутой головой, разгоняя по обнаженной спине тяжелые волны, давая гриве вздохнуть...

И вдруг увидела свое отражение.

Очень давно она не видела всю себя, со стороны, – дома, в ванной, висело небольшое зеркало, в котором мелькало утреннее деловое отражение: два-три мазка губной помады, прядь волос, взбитая щеткой надо лбом... И вдруг эта огромная клубистая глубь в голубой с позолотой виньеточкой раме... Неожиданная зыбкая встреча со своим телом в дымке пара, восходящего над ванной, в приглушенном свете матовых ламп...

Живопись венецианской школы. Тициановой выделки кожа цвета слоновой кости, перламутровая кипень живота, золотистые удары кисти на обнаженной груди и эта масса багряных волос, пожизненное ее наказание и благодать... (Ежеутренние мучения в детстве, на

даче. Рита, намотав на руку толстую змею ее волос, медленно вела гребнем от лба, упруго оттягивая назад голову:

– Королевна моя, золотая, медная... ни у кого на свете, ни у когошеньки таких волосев нету...

– Ой, Рита, больно!

– А ты терпи, терпи! За такое богатство всю жизнь терпеть не обидно...)

За последние несколько месяцев она похудела, стала юнее, тоньше, ушли с бедер небольшие жировые подушечки, так отравлявшие ей настроение...

Молча она глядела в глаза обнаженной женщине, с которой вдруг осталась наедине... Та, в зеркале, осторожно, как чужую, тронула грудь, приняла ее вес в ладонь, медленно обвела пальцем темный кружок соска, чувствуя, как снизу живота поднимается пульсирующее волнение, обхватила ладонями и погладила плечи и... неудержимо, жадно, отчаянно принялась гладить и ласкать это теплое, живое – живое до кончиков пальцев на ногах, – прекрасное, еще молодое тело, содрогаясь от любви, наслаждения, радостного изумления... Ведь не могло же, в самом деле, быть, чтобы вот это теплое излучение кожи, молочное мерцание груди, медно-каштановая грива – всё это исполненное торжества *цветение* – вдруг... исчезло? Чушь! Бред. Конечно же, ошибка. Да и не туберкулез даже, никакого туберкулеза! Прочь! Да она здорова, и все! Она еще родить может. Вон бабы и позже рожают! Почему бы и нет? Столько лет Миша выпрашивает второго ребенка...

Но – как часто случалось в последние недели – она вдруг закашлялась и минут пять не могла продышаться, уговаривая себя, что это пар виноват, какого черта понадобилось пускать такую горячую воду...

...И после ванны, уже обтеревшись насухо полотенцем, долго еще сидела, окутанная паром, не в силах расстаться с собой, не в силах уйти от себя – такой, в платиновом свете тусклых бра, – сидела на краю ванны в своей любимой позе: согнутая в колене левая нога тонкой щиколоткой на колене правой...

* * *

...Еще не открыв глаза, она ощутила под веками то светозарное тепло солнечных лучей, какое чувствуешь в детстве летом на даче, едва проснувшись...

Значит, Рита нажарила им с Антошей картофельных оладий, и смерти больше нет и никогда не будет, потому что вот она, Кутя, вырастет и станет, как дедушка, ученым и изобретет такой особый препарат...

...В проем наполовину открытого окна с отваленным наружу, колким от старой краски зеленым ставнем была вдвинута в комнату трапеция солнечного света, верхний угол которой касался края зеркального шкафа, высекая из него фиолетово-зеленые искры (этот край постреливал снопами радужных игл, стоило лишь качнуть головой по подушке...). Воздушная струйка пылинок бежала вдоль голубовато-зеленой зеркальной рамы... На потолке комнаты волновалась жемчужная сеть.

Это вода в канале, поняла она. Это игра воды внизу, под стенами дома, отзывалась на потолке игрой опалов и жемчугов...

Она лежала, вытянувшись под простыней, заложив руки под голову... Как это ни странно, счастье, свет и чувство покоя не исчезли, а тихо разлились в груди.

Наконец она поднялась и босиком подошла к окну.

– Нет! – сказала она себе, качая головой. – Боже мой, нет!

Внизу тесно плескалась о кирпичные стены домов с кромкой соляной накипи веселая бутылочная вода канала. Поверху все было залито желтком солнца: крыши соседних домов

(крапчатая, буро-красно-черная короста черепицы, старинные печные трубы, похожие на поднятые к небу фанфары), балконы с провисшими, груженными мокрым бельем веревками, вчерашний мост, как вздыбленный жеребенок... и все ежесекундно под этим солнцем менялось... Нижние этажи еще погружены были в глубокую фиолетовую тень, но в воде, как в желе, подрагивали облитые солнцем верхние этажи с двумя витыми балкончиками и дрожал краснокирпичный мостик.

Снизу от воды поднимались детские голоса и восторженный собачий лай.

Перегнувшись через подоконник и вспугнув этим двух серо-фиолетовых голубей с изумленными глазами, она увидела парадное соседнего дома, ступени которого уходили прямо в воду. К узкому деревянному причалу перед парадным была пришвартована небольшая лодка с крытой досками палубой, по которой прыгали две девочки, лет пяти и семи. Обе они были в легких пальтишках и, что-то выкрикивая или припевая, по очереди прыгали с палубы катера на каменные плиты подъезда и обратно. Тут же мельтешила суетливым пушистым хвостом черная собачонка, с каждым прыжком приходявшая в такой яркий восторг, что лай становился нестерпимым: браво, брависсимо, брависсимо!!!

Поскользнуться, оступиться и уйти под воду было настолько легко, что минут пять она с замиранием сердца следила за прыжками синего и бежевого пальтишек, надеясь, что должен же, в конце концов, появиться кто-то из взрослых...

А когда вы с Антошей, вдруг подумала она, когда вы на даче вскарабкивались на старую яблоню, с которой свалиться на забор Горобцовых, утыканный гвоздями и осколками стекол, было легче легкого, – кто и когда из взрослых нужен был вам в разгар игры?

Каждое детство чревато озорной смертью со своих скользких, обрывистых, острых краев...

Завтраком кормили в большой сумрачной комнате на третьем этаже. Но и сюда сквозь гардины дымно просачивались солнечные струйки... Тяжелые черные балки потолка над белеными стенами придавали всей комнате трактирный вид. Постояльцев – в основном японских студентов – обслуживали две приземистые тайландки. Не первый класс, нет, и даже не второй... Она вспомнила дрова, сваленные под лестницей... Все прекрасно! Надо бы купить сегодня вина и выпить, обязательно выпить...

Уже одетая в легкую короткую куртку, она спустилась вниз.

Вчерашний портье, который так напомнил ей Антошу, в черной, заломленной с боков, дивно идущей к его острому лицу и густым бровям шляпе стоял по другую, не служебную сторону стойки и беседовал со своим пожилым сменщиком.

Она поздоровалась, сдавая ключ от номера.

– Синьоре понравилась ее комната? – учтиво спросил молодой.

– Очень! Вам очень идет эта шляпа, – заметила она. И как вчера, когда она вдруг попытствовалась о его имени, он быстро глянул на нее из-под бровей. Не смутился. Чуть улыбнулся «уленшпигельским» ртом.

– Грации, синьора.

И открыл перед ней стеклянную дверь, пропуская в переулок и выходя вместе с ней.

– Синьоре нужна помощь?

Она достала карту из кармана куртки, развернула.

– Покажите, как пройти к Академии.

Он придвинулся, склонился над картой рядом с ее лицом, будто хотел потереться щекой о ее щеку, снял шляпу – поля мешали...

– Вот, смотрите, – сказал он. – Пересекаете Сан-Марко... и по Калле Ларджо дойдете до Кампо Сан-Маурицио... – Длинный палец с коротко остриженным полукруглым ногтем

вычерчивал ее маршрут. – Ну, и по мосту Академии выйдете прямо к ней. – И выпрямился, надевая шляпу. – Синьора интересуется искусством?

Она усмехнулась:

– О, это уже съеденное наследство...

– У синьоры удивительная манера выражаться.

– А у вас отличный английский.

Он благодарно улыбнулся и ответил со сдержанной гордостью:

– Я три года учился в Англии... Охотно показал бы вам дорогу, но, к сожалению, тороплюсь на занятия.

– Чем вы занимаетесь? – спросила она тем же прямым, простым тоном, каким спросила вчера его имя.

– Живописью, – сказал Антонио.

Она подняла на него глаза. Промолчала... Да это уже нечестно, это – запрещенный прием, но так оно и должно было быть.

– Постойте-ка, покажите только, в какой стороне гетто...

– А, – сказал он. – Я так и подумал.

– Что вы подумали? – огрызнулась она. Он замялся, но ответил быстро:

– Я так и подумал, что синьоре захочется навестить гетто... Это недалеко от вокзала. – И опять он снял шляпу и почти приник щекою к ее щеке, пересыпая свой английский вчерашними, так восхитившими ее «дестра, синистра, дестра», сопровождая объяснения нырками легкой ладони.

Наконец они приветливо распрощались. Он, видно, уже здорово опаздывал. Почти бегом припустил к мостику, впадавшему в узкий переулок, и сразу же исчез в толпе туристов.

А может быть, вдруг подумала она, этот милый итальянский мальчик – всего лишь призрачок Антоши? И вздрогнула, внезапно вспомнив, что среди студентов Академии у Антоши была кличка Итальянец, за пристрастие к художникам венецианской школы.

Она повернула и пошла в сторону Сан-Марко тесной, еще по-утреннему затененной улочкой, мимо витрин цветного стекла, сувенирных лавочек с вывешенными наружу масками, мимо кондитерских и кафе, где на вертелах уже пустились в свой торжественный менуэт бледные куриные тушки, шла, натываясь на группы горластых подростков в карнавальных колпаках, на пожилых краснолицых немцев и жилистых американских старух.

Повернула за угол и вдруг вышла на вчерашнюю похожую на залу площадь.

Арочные галереи Новых прокураций еще оставались в тени, но портики уже были освещены солнцем. Она прошла всю площадь, уклоняясь от низко летающих голубей, и наконец обернулась на собор. Синие глубокие озера стояли в золоте мозаик. Тесный хоровод розоватых, голубоватых, серо-палевых, зеленоватых мраморных колонн издали напоминал легчайшие вязки бамбука. И все это невесомое кружево со всеми своими конями, пятью порталами и пятью куполами было погружено и как бы отдалено в среде мягкого утреннего сияния...

Через Пьяцетту она вышла на мол и глубоко, беззащитно вздохнула: за частоколом косо торчащих из воды, полусгнивших бревен перед ней лежала искристая, белая к горизонту, а ближе к берегу ониксовая, черно-малахитовая, но живая, тяжело шевелящаяся лагуна, как спина гигантского кита, всплывшего на поверхность. И отсюда, со стороны мола, в сияющем контражуре утра из воды выросло некое видение, как поднявшийся из глубины лагуны бриг: церковь Сан Джордже Маджоре – красно-белая вертикаль колокольни и белоснежный портал с мощным, грузно лежащим куполом.

Она подумала: как жаль, что у нее нет сочинительского дара, а то бы написать рассказ, который весь – как венецианская парча, вытканная золотом, лазурью, пурпуром и немис-

лимыми узорами, тяжелая от драгоценных камней, избыточно прекрасная ткань, какой уж сейчас не бывает, а только в музеях клочки остались.

Ей вдруг страшно, немедленно захотелось туда, как будто там ждало спасение. И уже минут через пять вапоретто влек ее по маршруту, где первой остановкой после Сан-Марко была прославленная церковь на крошечном острове.

Церковь была еще заперта. Минут десять она побродила по островку, который, собственно, и являл собой только церковь, несколько зданий из красного кирпича и просторный сад, куда не пускали туристов. Была еще маленькая гавань, приткнувшаяся к маяку, в которой уютно покачивались рядом несколько яхт.

За те считанные минуты, что она в восхитительном островном одиночестве шаталась по площади перед церковью, к плавучей пристани дважды причаливал вапоретто, привезший только парочку японских студентов. Впрочем, студенты, упругим шагом обойдя площадь и примыкающую к ней улицу-набережную, достали путеводитель и быстро друг другу из него что-то вычитали, улыбаясь и любознательно поглядывая на статуи святых в нишах фасада. После чего отбыли на втором вапоретто – понеслись далее осматривать достопримечательности. Просто у японцев, она слышала, короткие отпуска и каникулы, а мир так велик, и так много в нем городов, соборов, статуй и картин, которые нужно *осмотреть*...

Здесь было тихо. Маленькая площадь, скорее, большая площадка была погружена в тень величественного здания церкви. Вскрикивали чайки, ржаво постанывали цепи плавучей пристани. Она подошла к краю, туда, где каменные ступени так страшно и так обыденно уходили в воду... Здесь, как почти везде в Венеции, не было ни ограды, ни даже столбиков. Ничего, что удержало бы человека от того, чтобы *ступить*...

Пожалуйста, иди – подразумевалось: это не страшно, та грань, что отделяет воздух от воды, бодрствование от сна и солнечный свет от плотной сумеречности лагуны, – лишь видимость, жалкая ограниченность человеческого мира, упрямое стремление отграничить и отделить одно от другого. А мир взаимопроницаем – видишь, как естественно из моря поднялась эта белоснежная громада, как нерушимо стоит она в любовных объятиях воды...

Безумные и прекрасные люди, зачем-то построившие на воде этот город, похоже, вообще игнорировали саму идею разделения стихий, словно и сами поднялись со дна лагуны. Все здесь до сих пор напоминало их невозмутимую веселость, их мужество и лукавство, их труд и праздники... а главное – их бессмертные руки...

Наконец – и все-таки неожиданно – в двери что-то ржаво провернулось, она растворилась вроде сама собой, во всяком случае, за ней никто не стоял, а скорее всего, глубокий сумрак внутри не позволил разглядеть человека, отворившего церковь.

Она поднялась по каменным ступеням и вошла внутрь, где было холодно, темно и – ни души. Но минут через пять глаза освоились, и она прошла к алтарю, где должны были висеть – так значилось в безграмотном путеводителе – два полотна Тинторетто. Они там и висели, в темноте, ничего было не разглядеть. Ай да итальяшки, подумала она, вымогатели чертовы, – достала мелочь и бросила пятьсот лир в счетчик фонаря сбоку. Зажглась лампа, тускло осветив картину. И она отошла к скамье и села, одна в пустой церкви.

Это была «Тайная вечеря», десятки раз виденная на репродукциях.

(«Ты только посмотри, – объяснял ей когда-то Антоша в их бесконечных блужданиях по площадям Эрмитажа, – руки на картинах венецианцев – возьми Тициана, Веронезе, Тинторетто или Джорджоне – не менее выразительны, чем лица. Они восклицают, умоляют, спрашивают, требуют, гневаются и ликуют...») Когда-то Антоша объяснял ей про величие и страсть Тинторетто. Странно, что она помнит это до сих пор, и странно, что не помнит – в чем именно, по мнению Антоши, заключались величие и страсть. И что тревожит ее так в этой огромной картине?

Несколько раз она поднималась и бросала по пятьсот лир в счетчик лампы... Да, руки... Да, лица в тени, вполоборота, в профиль, опущены или заслонены, словно персонажи уклоняются от встречи с тобой. А руки так потрясающе одухотворены, так живы, так дерзки, так коварны. Картина шевелилась от движения множества изображенных на ней рук.

Вдруг заиграл орган. Она вздрогнула – ее обожгло минорной оттяжкой аккорда, – и сразу побежал, как ручей крови, одинокий, ничем не поддержанный пассаж правой руки, заструился; его прервал опять саднящим диссонансом аккорд в верхнем регистре.

Органист репетировал к вечерней мессе «Прелюдию» Баха, начинал фразу сначала, бросал, повторял снова, повторял аккорды, пассажи... умолкал на минуту и снова принимался играть – и все это было прекрасно и точно, и словно бы так и надо, и все – для нее одной...

Если смотреть отсюда, из полутьмы собора, в проеме двери плескалась ослепительной синевы вода лагуны и цветно и акварельно на горизонте лежала Венеция.

Она слушала репетицию мессы и смотрела на «Тайную вечерю» Тинторетто, на ее глухие тревожные красные...

И вдруг вся мощь басов тридцатидвухфутовых труб органа потрясла церковь от купола до каменных плит пола: ошалелый восторг, слезный спазм, дрожь перед чем-то непроизносимо великим, – как воды, прорвавшие дамбу, – обрушились на нее, и в какой-то миг этого разрывавшего ее счастья она поняла, что мечтает сейчас же, немедленно уйти на дно лагуны, сидя на этой вот скамье, в этой церкви, вместе с ее великолепными куполом и колокольной, статуями, картинами Тинторетто...

Уже собравшись уходить, она обошла церковь и вдруг наткнулась на табличку со стрелочкой, указывающей вход на колокольню. За три тысячи лир туристам предлагалось осмотреть окрестности с высоты птичьего полета. Мимо резных инкрустированных деревянных хоров она прошла по стрелочке в служебные помещения и уткнулась в створки абсолютно нереального здесь лифта. Нажала кнопку, где-то наверху что-то звякнуло, тренькнуло – звук утреннего колокольчика в богатом доме, – через минуту створки разъехались, и она слегка отпрянула, потому что в тесной кабине лифта, как Дюймовочка в жужжащем цветке популярной игрушки времен ее детства, стоял священнослужитель в коричневой рясе и приветливым жестом приглашал ее внутрь. Рядом на табурете стояла плетеная корзинка с бумажной и металлической мелочью.

Она улыбнулась в ответ, вошла в лифт, и они поехали вверх. Принимая деньги и отрывая билет, молодой человек спросил по-итальянски: хочет ли синьора побыть на колокольне одна или ей нужен гид? Она кротко поблагодарила: синьора предпочитала побыть наверху одна, пока черт не принесет кого-нибудь из туристов. Он выпустил ее и, держа палец на кнопке, свободной рукой махнул по всем четырем направлениям: там Сан-Ладзаро, там – Сан-Микеле-ин-Изола, вон там – Сан-Франческо-дель-Дезерто... Мурано, Лидо... И вновь она зачарованно следила за легкими взмахами его длинной ладони... и опять подумала о бессмертных руках венецианцев, с первых минут здесь державших ее в поле своей пластической магии.

Наконец лифт уехал.

Ей казалось, что за сегодняшнее утро уже израсходован весь отпущенный ей запас той странной душевной смеси горячего восторга пополам со сладостной тоской, которая – она была уверена – осталась навсегда в далеком детстве, в чем-то каникулярно-новогоднем, снежном, елочном, подарочном счастье... Но тут, стоя под крышей колокольни и изнемогая от того, что открывалось глазам с четырех сторон, она думала: благодарить ли ей судьбу, подарившую все это перед тем, как... или проклипать, все это отнимающую...

Вид божественной красоты открывался отсюда. Далеко в море уходил фарватер, меченый скрещенными сваями, вбитыми в дно лагуны. Островки и острова, сама светлейшая Венеция – все лежало как на ладони: великолепие сверкающей синевы, голубизны, бирюзы и лазури, крапчатые коврики черепичных крыш, остро заточенные карандашники колоколен, темная клубистая зелень садов на красноватом фоне окрестных домов...

И правда, когда Бог трудился над этой лагуной, Он был и весел, и бодр, и тоже – полон любви, восторга, сострадания... И тут, объятая со всех сторон этой немислимой благодатью, она подумала с обычной своей усмешкой: а может быть, ее *приволокли сюда* именно из сострадания – показать райские картины, подать некий успокаивающий, улыбающийся знак: мол, не бойся, не бойся, дорогая...

Трижды звякнул колокольчик, и послышалось кряхтенье кабинки лифта. Она недооценила безжалостную самурайскую последовательность японской парочки. Они вернулись, безусловно успев за это время *охватить* еще какую-нибудь церковь.

– Погодите! – сказала она юноше в лифте. – Я спускаюсь с вами... Вам не скучно так ездить весь день? – спросила она его.

Он улыбнулся:

– О нет, не весь день! Я только утром подменяю нашего лифтера. Вообще я арфист. Откуда синьора?

Обычно она уклончиво отвечала на этот вопрос: так миллионер не торопится афишировать свои богатства. Но этому парню, длиннорукому *арфисту*, богачу, владельцу этой лагуны, этому – равному – ей захотелось *сделать подарок*.

– Из Иерусалима, – сказала она и с удовольствием, с тайным удовлетворением услышала благоговейный возглас... И еще два-три мгновения, пока лифт не опустился, они смотрели друг на друга с улыбками равных...

Пообедала она в маленькой трагтории на углу уютно-семейной, с трех сторон укрытой домами площади.

Подавала девочка лет пятнадцати, некрасивая, длинноносая, этакий девчачий Бура-тино. Подпрыгивая, пришаркивая, как в классы играла, она бегала от одного столика к другому, вытаскивала из кармашка блокнотик, что-то вычеркивала, записывала, убегала, прибегала. И, спрашивая, близко наклонялась к клиенту, улыбалась, подмигивала, острым носом лезла в тарелку, проверяя, всё ли в порядке. Кажется, ей страшно нравилась ее работа.

Курица была хорошо прожарена и вкусна.

Она сидела у окна и, разгрызая куриное крылышко, неторопливо рассматривала площадь с каменным колодцем в центре, накрытым круглой деревянной крышкой.

Отсюда был виден и канал, протекающий вдоль одного из зданий – всего в краснокирпичных язвах под облетевшей штукатуркой. Из-под моста одна за другой, привязанные, как лошади, кивали золочеными гребешками гондолы.

Медленно допивая большой бокал домашнего вина (девочка, заговорщицким тоном: «Не берите кьянти, синьора, возьмите нашего домашнего, не ошибетесь, мы заказываем его у Пеллегрини, что под Вероной». И правда, домашнее оказалось вкрадчиво мягким, обволакивающим небо, как раз таким, как ей нравилось), она смотрела, как в романском окне второго этажа дома напротив показался старик в голубом белье и, глядя вниз, на женщину, раскладывающую на лотке пучки бледного редиса, медленно закрыл обшарпанный солнцем ставень.

...Довольно долго она стояла на мостике, локтями опершись на деревянные простые перила, курила и смотрела, как меняется цвет воды в канале, как вспыхивают и маслянисто колыхаются тяжелые блики: слева сюда впадал еще один узкий проток, и вот оттуда, из-

за домов, со стороны заходящего солнца на воду лег бирюзовый язык света, в котором на искрящейся, шкворчащей сковороде жарилась синяя плоскодонка.

То, что этот первый из трех отпущенных ей дней уходит, она поняла, только когда на набережной Пьяцетты зажглись лиловые, похожие на гигантские канделябры, тройные фонари. Лилеи, подумала она, лилейные фонари...

И сразу почувствовала, как устала.

Вернувшись в гостиницу, еще немного постояла у окна...

Небо, словно выдутое из венецианского стекла, еще горячее внизу, у искристой кромки канала, вверху уже загустевало холодной сизой дымкой. Крыши еще были залиты солнцем, стены домов с облетевшей штукатуркой, с островками обнаженной краснокирпичной кладки – все это ежесекундно менялось, таяло, дрожало в стеклянной воде канала. Мостик в воде колыбался люлькой, парил над небом – в воде... В мелких суетливых волнах скакал серпик месяца. В воздухе таяли звуки уплывающего аккордеона... Она сказала себе:

– Иллюзия счастья...

Потом сняла куртку и легла, не раздеваясь, велела себе – «на минутку», но сразу уснула и проспала, вероятно, часа два.

Разбудил ее колокольный звон. Он качался и плыл в колеблющихся сумерках, как тяжелая вода каналов. Сначала ударили на колокольне Сан-Марко, и минуты две на одной гудящей ноте гул раскачивал сам себя, потом с колокольни одной из соседних церквей – Сан-Джулиано или Санта-Мария-Формоса – стали выпадать равномерные густые басы, иногда роняя невпопад какие-то случайные бимы и бомы. Потом звонарь Сан-Марко, торопясь, перебрал подряд все колокола вверх и в обратном порядке – по малым терциям да по малым септимам, – терзая сердце жалобными протяжными вопросами.

И долго разговаривали колокольни окрестных церквей, перебивая друг друга, вскрикивая, захлебываясь лепетом маленьких колоколов, увязая, как в киселе, в тревожном густом гуле.

Она стояла у окна и смотрела на крыши, балконы и трубы, на плывущие понизу улицы-канала гондолы, на освещенные изнутри зеленые гардины в трех высоких окнах соседнего дома – наверное, там и жили две девочки, так бесстрашно плясавшие сегодня утром на шаткой палубе катера...

Наконец отошла от окна, достала купленные в лавке листы бумаги, ручку и села писать домой обещанное послание.

«Дорогие Миши-Маши! – писала она. – Не будем мелочиться: я в Венеции... Хожу по улицам с русским путеводителем, купленным на вокзале в Милане. Переведен чудовищно, смешно читать, перевраны все названия, имена художников и исторических деятелей. А сезонное наводнение, в которое я просто обязана по времени угодить, переведено буквально с «аква альта» как «высокая вода венецианцев». И все это прекрасно. Гостиница чудесная, обшарпанная, затрапезная, в моем распоряжении два патрицианских танцевальных зала – вероятно, в сезон номер предоставляется труппе аргентинского варьете или многодетной семье какого-нибудь бруклинского страхового агента, только этим я объясняю наличие двух (!) умывальников в ванной.

По утрам безмолвный тайландский дракон с базедовой болезнью подает мне сухой круассан с чашкой – не буду хаять – приличного кофе.

Как всегда, в спешке забыт фотоаппарат и, как всегда, купить здесь новый – не хватает пороку... Вот и не останется памяти...»

Она перечитала написанное, усмехнулась. Ну, с памятью у тебя в самое ближайшее время действительно намечается напряженка.... Интонацией, впрочем, осталась вполне довольна. Пора было переходить к туристической части.

«Под моими окнами – узкий канал Рио де Сан-Джулиано, один из сорока пяти венецианских каналов. Вечерами по нему все время ходят гондолы. Иногда целыми флотилиями – по четыре, по пять. В средней сидит музыкант, аккордеонист или гитарист. Один такой играл вчера... правильно, «Санта Лючию»! – а гондольер пел. Пассажирами была чета пожилых японцев. Они сидели, задрав опрокинутые широкие, как бы раздавленные всем этим великолепием лица, и в их ошалевших азиатских глазах проплыло мое распахнутое окно. (Японцев и прочих можно понять: здесь то и дело кажется, что сердце разорвется от счастья. Просто сердечная мышца не вынесет этого пламенеющего груза.) Еще из повадок гондольеров: заворачивая за угол дома, они кричат «О-ои!» – предупреждая друг друга, чтобы не столкнуться. «О-ои! О-ои!» – разносится над водой каналов – то ли крик боли, то ли стон любовный...

За работающими гондольерами забавно наблюдать с мостиков. Они вращают весло в воде замысловатыми круговыми движениями и, если близко притираются к стенам домов, отталкиваются от них ногой. Обычно они в униформе: соломенная шляпа с красной или черной лентой, тельняшка и черные брюки. Стоят на корме, на коврике, и эквилибрируют, как канатоходцы. Проплывая под мостиками, наклоняются. Сегодня, стоя на мостике, я наблюдала одного такого бравого гондольера. Он наклонился, лысина его побагровела, стало видно, что он уже пожилой человек и зарабатывает на жизнь тяжелым, в сущности, трудом.

Гондолы длинные, черные, лакированные, сиденья внутри обиты красным бархатом. Иногда по бортам – золоченые морские коньки или еще какая-нибудь живность. Иногда в гондоле стоит роскошный стул, обитый парчой.

Была в Академии, часа три бродила по залам, но, очевидно, в юности перенасытилась этим высококалорийным продуктом. Главное впечатление: у младенцев на картинах Беллини ножки пожилых дебелих дамочек. А печные трубы, расширяющиеся вверх (например, на крыше палаццо Дарио), совершенно такие же, и я думаю, даже те же, что и на картинах Карпаччо.

Здесь я и венецианских мавров видала – на набережной Пьяцетты они беспатентно торгуют сумками кустарного производства. Когда карабинеры совершают облаву, мавры бросают весь товар и бегут врассыпную. Все-таки это – некоторое удешевление образа, нет? Постмодернизм нашего бесстыжего века».

Она опять ревниво перечитала написанное и опять осталась собой довольна. Миша ничего не заподозрит. Из последних сил она оттягивала эту смертную казнь. И вдруг поняла, что уехала только из-за Миши. Это Миша доживал последние дни – дни неведения. Это он там, взбешенный ее внезапным и необъяснимым исчезновением, ничего не понимая, – все-таки оставался еще самим собой, и жизнь еще не накренилась в преддверии смертельного обвала.

«Деревянные мостки, сложенные штабелями на пьядца Сан-Марко, – быстро писала она, – свидетельствуют о том, что венецианцы всегда готовы к появлению своей «высокой воды». И я надеюсь-таки на этот аттракцион.

Город сконцентрирован, сжат каналами, свернут, как раковина, повернут к Богу. Вынырнешь на какой-нибудь кампо, глотнешь сырой морской воздух и опять – изволь в лабиринт, петлять по мосткам...

Голуби на Сан-Марко не летают, а семят, переваливаясь. Не вспархивают из-под ног туристов, а просто отходят – вообще ведут себя как деревенские свиньи перед телегой. Сегодня я купила мешочек с зернами маиса, насыпала в вязку свитера на сгибе локтя. Мгновенно на локоть слетелись эти безмозглые приживалы – выклеивать из свитера маис, и я так и ходила по площади, как святой Марк.

Вот вам мои первые венецианские впечатления.

Напоследок картинка. По Гранд-каналу плывет флотилия: впереди катер полиции – на носу полицейский свистками и яростной жестикуляцией разгоняет яхты, гондолы, вапоретто, заставляя их прижаться к берегу. Следом – мощный грузовой катер тянет на тросах баржу, груженную подъемным краном и всяким строительным материалом: мешками с цементом, ящиками, кирпичами... И замыкают флотилию два катерка-фраерка, для порядка, а больше для форсу: карабинеры, раскинувшись вольно на корме, что-то жуют и, судя по мельканию рук, беседуют. (Вообще, руки у венецианцев – главная часть души. И это прекрасно понимали их художники.)

Завтра утром отправлю это факсом. Не скучать! Вернусь в воскресенье вечером. Целую – доктор Лурье.

Странно отличается здешний колокольный звон от такового в Амстердаме. Там – устойчивость, могучая основательность бюргеров. Здесь – мираж, отражение в воде канала, вопрошающий гул рока...»

Перечитала письмо и аккуратно вычеркнула последний абзац.

* * *

Утром на водостоке под ее окнами ворчливо и хмуро переругивались голуби, и она, не открывая глаз, поняла: сегодня пасмурно. И долго стояла у окна, наблюдая рабочую грузовую жизнь в сеточке дождя.

Сначала к подъезду соседнего дома подкатил катер-мусорка. Двое мужчин в желтых дождевиках боком пришвартовали катер, один поднялся в парадное и оттуда стал швырять другому пластиковые мешки с мусором. Минут через пять они отчалили и, так же кропотливо пришвартовавшись у соседнего парадного, забрали мусор и там...

Рябая вода канала, облезлые, в соляной кромке стены домов – все было погружено в моросную дымку. Печные трубы, похожие сегодня на старинные докторские трубки, прослушивали тяжелую, набухшую мокротой грудь неба.

Минут через десять после мусорки к другому дому протарахтел замызганный катер, груженный мешками, досками, ящиками. Долго принарамливался боком к узкому дощатому причалу, наконец примостился, и паренек в таком же прорезиненном, блестящем от дождя плаще, подняв на закорки тяжелый мешок, ступил на доску, перекинутую с борта катера на причал, и, напрягшись, балансируя, одним движением ловко забросил мешок в парадное. Все эти несколько секунд она следила за ним, чувствуя страшное физическое напряжение (так молодой акушер тужится вместе с роженицей), потом, сглотнув с облегчением, сказала вслух:

– Молодец. Молодец!

После завтрака, надев поверх тонкого серого свитерка еще один, Машин свитер, она спустилась вниз. Принимая у нее ключи, пожилой, простоватого вида портье сказал вдруг:

– Завтра с утра дежурит ваш приятель.

– Мой приятель? – холодно переспросила она, хотя сразу поняла, кого он имел в виду. И рассердилась. Уж не подмигнул ли он? Нет, не посмел.

– Простите, синьора, мне показалось, что вы с Антонио давно знакомы...

– Вам показалось, – сухо отозвалась она. Набросила капюшон куртки, толкнула стеклянную дверь и вышла в дождь. Рассердилась на самом деле на себя. Если б не его неожиданная фраза, она сама спросила бы, когда дежурит этот милый мальчик, так похожий на Антошу.

Через Бумажные ворота Дворца дождей она вошла в арочную галерею двора. Там построилась рота карабинеров. Рыжий дюжий капитан с обнаженной шпагой выкрикивал команды, и все не очень дружно поворачивались то вправо, то влево. Трубач в штатском, в застиранном свитерке, очень точно, нежно и сильно выпевал длинные музыкальные фразы.

Она поднялась наверх и часа два бездумно бродила по ошеломляюще огромным роскошным залам, подходя к окнам, подолгу глядя на укутанную туманом лагуну.

На набережной еще не выключили фонари, их свечение в утреннем сыром тумане образовывало магические круги, нежнейшую субстанцию, видимое воплощение бесконечной печали...

На огромных старинных картах XVI века в Зале Щита она, конечно, искала свою страну. И нашла, и поразились: очень точно указаны были границы владений колен, обозначены имена – Иегуда, Менаше, Дан, Реувен, Иссахар... А вся страна называлась... Палестина.

Она долго стояла перед этой картой. Вот она, модель отношения к нам мира, думала она. Мир не может отказать нам в тех или иных деталях, подтверждающих целое, но в самом целом – упрямо, бездоказательно, тупо – отказывает.

Потом, влекомая потоком какой-то группы, она зачем-то спустилась в подземелье, где туристам демонстрировались застенки знаменитой тюрьмы – Поцци. И, переходя из одного каменного мешка в другой, наклоняясь под низкими тяжелыми балками, она достаточно равнодушно оглядывала эти ужасы былого. Камеры как камеры, думала она, только чертовски холодно – оно и понятно, ниже уровня вод. Но в одной из камер – грубо беленной, подготовленной для осмотра – сохранились рисунки заключенных на стенах. В большинстве своем – обнаженные фигурки, женские профили и лодки на волнах. Все как у людей...

Один из рисунков напомнил ей густобровый остроносый профиль брата. Или она сама уже повсюду искала приметы его присутствия? По своим склонностям и характеру, подумала она, Антоша мог бы здесь сидеть, конечно, мог бы.

И опять ей показалось, что кто-то позаботился об этом неотвязном, бесконечно томительном свидании с покойным братом и ведет и волоком тащит ее по мучительному маршруту с известным, никаким помилованием не отменимым пунктом назначения...

После девятого класса дача наскучила – да и о чем целое лето можно было говорить с Ритой?

Она стала приезжать на каникулы в Ленинград, тем более что Антоша, который был на четыре года старше ее, поступил в Академию. Это был новый упоительный вихрь каких-то полудиссидентских, полубогемных компаний, странные молодые люди с невиданными в то время серьгами в ушах, многие бритые наголо, а кое-кто оставлял закрученный над ухом чуб. Великолепно сквернословящие девушки, интеллигентного вида бородачи, шурующие в кочегарках. По сравнению с Москвой Ленинград представал очень заграничным, очень *прогрессивным* городом. От всего неуловимо веяло близостью Запада... Порт, иностранные корабли... Антоша заставлял ее читать скучные и опасные книги, отпечатанные на машинке, на папиросной бумаге. Она силилась вникнуть в туманные рассуждения какого-то Бердяева и – что особенно навело тоску – отца Сергея Булгакова, в отличие от *настоящего* Булгакова – страшного зануды... Антоша таскал ее по каким-то мастерским, по выставкам, в знаменитый «Сайгон», знакомил с *гениями* – например, привел в одну квартиру, где на диване лежал толстый человек, прикрытый пледом. Он не был болен, но вокруг крутились несколько шалавного вида девиц, которых она мысленно окрестила «гуриями» и была права: как-то подобострастно они прислуживали толстому человеку – подавали чай, водку, поправляли подушки.

Антоша подвел сестру к дивану, толстый человек назвал ее огненной отроковицей и весомо перекрестил, потом грузно повернулся на бок, плед съехал, обнажилась жирная голая ягодица.

– Пойдем отсюда, – сказала она Антоше.

И когда они вышли из подъезда на улицу, брат стал объяснять, что это Марминский, великий человек, теоретик искусства, покровитель молодых талантов и гений.

– А трусы отчего не надеть? – спросила она со своей обычной издевкой. – Или это противоречит?

Антоша разозлился и сказал, что она мещанка и дура и ей еще топать и топать, пилить и пилить, карабкаться и карабкаться по пути к пониманию искусства...

Всю ту долгую ночь они протаскались по набережным, ругаясь под каждым фонарем, а когда вошли в подворотню Антошиного дома, он, схватив ее вдруг за плечи, стал яростно трясти, рыча:

– Почему?! Почему ты – сестра?! Почему?!

И она страшно перепугалась, дико захохотала, помчалась по лестнице вверх и заколотила в дверь. Ей открыл заспанный дядя Сергей, она заперлась в своей комнате, распустила волосы, долго, испуганно и требовательно в белесом рассвете вглядывалась в себя в зеркале, не зажигая лампы, и у нее смешно и глупо дрожали ноги.

Антоша явился только назавтра к вечеру. Как ни в чем не бывало – привычно раздереганый, упрямый и готовый опять немедленно куда-то умчаться.

А Рита старела в одиночестве, вызванивала их, умоляла приехать... Потом пришла *эта беда* с Антошей, и он несколько раз являлся-таки к Рите ночным из Ленинграда – требовать денег. И под конец обобрал ее до нитки...

Да, жалко, что Рита не умерла раньше, счастливой, не дождавшись Антошиной гибели.

(И вспоминается-то все такое больное: на ее свадьбе, на которую Антоша не приехал, подвыпившая старенькая Рита, через стол наклонившись к осоловелому жениху, сказала заговорщицки: «Ну, что, рыбак, – выходил, высидел, подстерег и... подсек, а? Вы-итащил рыбку золотую...»)

Вот так оно было всегда: брат – это каникулы, легкость, вздор, обиды, шальные шатания, бранные словеса, крепкие напитки, сигареты, милый сердцу художественный сброд.

Миша – занятия, долг, его благоговейная обреченная любовь, а позже – дом и дочь. И наконец, ее – к нему – благодарное и молчаливое чувство, которое давно уже тоже – не что иное, как любовь. Она самая, она самая...

На Сан-Марко какие-то люди споро расставляли мостки, выстраивая дорожку от входа в собор, вдоль Старых прокураций – в переулки... И это казалось странным, потому что дождь уже перестал, хотя туман сгустился. Ничего, кроме крошечных фонтанчиков, постреливающих из канализационных люков, не указывало на возможное наводнение...

Она достала из кармана карту, выслеживая улочки, по которым можно дойти до гетто, вспоминая, как вчера наклонялся над картой Антонио, почти касаясь ее щеки своей сутки не бритой щекой... Значит, дежурит он завтра, с утра и... до утра, конечно...

Она поднялась на мостик и узкой извилистой Калле-дель-Форно вышла на людную площадь, всю заставленную деревянными рядами с навесами.

Это был утренний блошинный рынок.

Старинные лампы, кошельки, камеи, ножи и вилки, старое тускловатое венецианское стекло, по большей части темно-красное или синее, пенсне в футляре, наволочка на подушку

из старинных грязных и прелестных кружев – прибой времени выбросил все это на площадь, как волна выбрасывает на берег водоросли, ракушки и прочий морской сор... И часа полтора она провела под навесами, переходя от прилавка к прилавку, подолгу застревая возле какой-нибудь стеклянной статуэтки, или старинных часов, или зеркала, почти съеденного проказой времени.

Вообще это была веселая площадь с лавочками и мастерскими, торгующими венецианским стеклом. Даже в этот зябкий осенний день вазы, цветы, причудливые рыбы и животные переливались под электрическим светом витрин и горели жарко, как высокий витраж в соборе в полдень... Будто вода божественной лагуны была разобрана на мельчайшие оттенки.

«В этом доме жил композитор Рихард Вагнер...» – прочла она доску на одном из домов на площади. В этом доме жил композитор Вагнер, подумала она, и правильно делал.

Опять зарядил дождь. Со стороны Сан-Марко торговцы торопливо везли тележки с нераспроданным товаром. Один такой быстро катил свой лоток с наваленными горкой цветными колпаками, платками и дешевыми масками – бежал внаклон, как бы догоняя свою тележку, одновременно пытаясь укрыть голову под ее полосатым навесом...

В гетто на площади Джетто Нуово она отыскиала мемориальную доску с именами своих погибших соплеменников. И сразу заплакала.

Человек, чуждый всяким сантиментам, она всегда легко и сладостно плакала над судьбой своего народа. Привыкла к этому своему – как считала – генному рефлексу, всегда ощущала упрямую принадлежность, смиренно несла в себе признаки рода и со свойственной ее народу мнительностью внимательно вслушивалась в себя, в ревнивый ток неугасимой крови... Сейчас же плакала легко и вдохновенно потому еще, что наткнулась на свою фамилию, достаточно, впрочем, распространенную, в правильном, первоначальном ее написании – Лурия. Франческо *Фульвио* Лурия, неизвестная, обрубленная веточка разветвленного по странам могучего древнего клана... Наверняка родственник, у них в роду тоже тянулась ниточка имени *Вульф*. И их с Антошей дед, известный нейрохирург, тот самый, что после смерти молодой жены взял в дом простую русскую женщину Риту, – и он носил имя Вульф... И если б у тебя был сын... Господи, что ж тут плакать, когда все-все скоро станет понятно, когда совсем скоро ты станешь для всех них *своей*...

Площадь – даже посреди этой тотальной венецианской обшарпанности – выглядела особенно убогой, запущенной и, несмотря на развешанное кое-где под окнами белье, заброшенной людьми... На первом этаже одного из домов она увидела вывеску пиццерии и подошла поближе. На дверях был приклеен лист бумаги, на котором крупными буквами написано на иврите: «Мы рады тебя обслуживать до тех пор, пока ты уважаешь нас, это место и наши законы...»

На порог вышел молодой человек в черной кипе, оглядел ее, пригласительно махнул рукой:

– Прего, синьора!

Она сказала на иврите:

– Да пошел ты!.. Значит, если за свои деньги я захочу съесть твою вчерашнюю пиццу, то я обязана уважить тебя, твою паршивую забегаловку и всю твою родню по матери!

Он выслушал все это, восторженно приоткрыв губы, – вероятно, ее иврит был гораздо лучше, чем его, – и, таращась в ее не просохшие от слез глаза, спросил:

– Синьора, ты откуда?

Она пошла прочь, сказала, не оборачиваясь:

– Оттуда. Из самого оттуда...

Где-то неподалеку, очевидно, чистили канал – сюда доносилась вонь застоявшейся воды, перегнивших водорослей и нечистот...

Дождь сегодня рано пригнал ее в отель. По пути она зашла в какую-то закусочную, купила жареного картофеля, булку, граммов двести крупных черных маслин и бутылочку граппы – согреться. Кроссовки основательно промокли, хоть бы высохли до утра на батарее...

На Калле-дель-Анжело вода уже доходила ей до щиколоток. Прыгая с крыльца одной лавки на крыльцо другой, она наконец добралась до своего отеля.

– Синьора совсем не отдыхает, – заметил пожилой портье, отдавая ей ключ.

– А зачем мне отдыхать? – удивилась она.

– Я слышал, как утром синьора кашляла. В такую погоду легко разболеться...

– Ничего, – сказала она, – у меня есть лекарство. – И показала ему бутылку граппы.

И стала подниматься по лестнице, оставляя мокрые следы от кроссовок на драной бортовой дорожке. Портье сказал ей вслед:

– На Сан-Марко пришла аква альта и, похоже, продержится до завтра!

У себя в номере она налила в стакан немного граппы, выпила залпом, неторопливо переделась в сухое и, приоткрыв окно, стала ждать ежевечернего колокольного перезвона...

И все-таки первый удар опять застиг ее врасплох – этот вопросительный протяжный стон, высокая долгая нота, истаяющая вверху, в низком сером небе. Опять заговорили жалобно, перебивая друг друга, колокола соседних церквей, им отвечал с Сан-Марко ровный гуд, на фоне которого всплескивали верхние колокола.

...Неотвязная прошлая вина, столь ощутимая в последние два дня, смутная, связанная с гибелью брата, опять сжала сердце. Она хотела объяснить кому-то безжалостному и безграмотному, как переводчик путеводителя, кто привел ее сюда, и кружил по этим улицам и каналам, и терзал, и насылал призраков... хотела все объяснить, но сникла, ослабела и только прошептала одними губами:

– Антоша, Антоша, братик, пропащая душа, скоро увидимся...

И длился, длился разговор колоколов, раскачивалась невидимая сеть, опутывая шпили, крыши, купола, каналы...

Зачем, опять смятенно спросила она себя, зачем ее приволокли сюда, мучая этим ускользающим счастьем, и на какой вопрос пытаются ответ, и что ж она может знать – *до срока!*

За эти несколько минут изматывающего, окликающего ее зова колоколов она все поняла: этот город, с душою мужественной и женской, был так же обречен, как и она, а разница в сроках – семь месяцев или семьдесят лет – такая чепуха для бездушного, безграничного времени! И это предощущение их общей гибели, общей судьбы – вот что носится здесь над водой каналов.

Величие Венеции с ее вырастающими из воды, прекрасными обшарпанными дворцами, с ее безумными художниками, с этим ее Тинторетто, готовым расписать небо... ее зыбкость, прекрасная обветшалость, погружившиеся в воду, скользкие и зеленые от водорослей нижние ступени лестниц, ее бесчисленные мосты... И блеск, и радость единственной в мире площади, и лиловый шлейф ее фонарей, и узкие, как турецкие туфли, гондолы, и фанфары старинных печных труб – все обречено, твердила она себе, обречено, обречено...

И опять, как в первые минуты, ее настиг соблазн: ступить – с причала, с набережной, с подоконника, – уйти бесшумно и глубоко в воды лагуны, опуститься на дно, слиться с этим обреченным, как сама она, городом, побрататься с Венецией смертью...

Но вот бой колоколов затих, и в наступившем плеске тишины послышался уже привычный ей крик гондольера: «О-и-и!» – и выплыла музыка, веселая растяжка аккордеона... Значит, кто-то из безумных туристов, несмотря на дождь, нанял гондолу...

Она плеснула в стакан еще немного граппы, выпила, зажевала черной маслиной и подумала, что завтра увидит, наверное, настоящее наводнение на Сан-Марко.

– Ну что ж, – сказала она, неизвестно к кому обращаясь, – следующим номером вашей программы – «Высокая вода венецианцев». Посмотрим и это, господа, – бляди-угодники... Посмотрим и это...

* * *

Утром она опять с пристрастным интересом наблюдала, как в сизом дырявом пару тумана катер-мусорка объезжал подъезды, рабочий в дождевике выбрасывал из подъездов в катер мешки с гремящим содержимым, потом появились ремонтные рабочие и повторилась вчерашняя утомительно-кропотливая разгрузка-погрузка.

Навалившись на подоконник, она разговаривала с ними вслух.

– Куда ж ты полез! – восклицала она. – Там доска на соплях держится!

И сердилась, и радовалась, когда в конце концов они все преодолели: все ящики, мешки и доски были внесены, порожняя тара вынесена, погружена в катер, и бригада споро отта-рахтела дальше по каналу...

И все время, пока наблюдала рабочую, рассветную жизнь этого уголка Венеции, пока стояла под горячим душем, пока расчесывалась, пока одевалась, она старалась угадать – заступил ли на дежурство Антонио.

Но позже, когда, спустившись в холл, вдруг увидела его в узком коридоре, соединяющем холл гостиницы с рестораном (он о чем-то оживленно спорил с одним из официантов, но, увидев ее, радостно встрепенулся и – показалось? – нетерпеливо кивнув собеседнику, одновременно сделал движение к ней навстречу), резко толкнула входную дверь и вышла на улицу...

И пока шла по мосткам в сторону Сан-Марко, задыхалась, зло щурилась и обзывала себя немыслимыми, непроизносимо грубыми словами.

Как видно, в этот раз вода поднялась особенно высоко, она заплескивалась даже на деревянные мостки, выложенные по периметру площади. С высоты колокольни эти мостки, должно быть, напоминали застывшую муравьиную дорожку, бегущую из переулков, огибающую площадь и уводящую под арки собора. Вся же огромная площадь была залита мутной, подернутой рябью водой, и это было страшно – как будто уже пришла беда, окончательная, бесповоротная, и вот лагуна заглатывает навеки, пожирает свое бесценное дитя...

Не слишком многочисленные туристы прыгали по мосткам, как воробьи. Закрыв ставни, нахохлившаяся Венеция ежилась под ударами ветра, рассыпающего мелкий холодный дождь, как пригоршни голубиногo корма.

Ей вдруг захотелось вернуться в отель, в тепло, увидеть мучительно родное лицо давно умершего брата, встретиться глазами с метким оценивающим взглядом уличной шпаны... И – что? – спросила она себя жестко. Что потом?

И, чтобы заставить себя опомниться, пошла по направлению к мосту Академии, потом в сторону вокзала и долго бродила как можно дальше от площади, от своего отеля, от могучего образа всеохватного наводнения, погружения, исчезновения города в водах лагуны.

Так на одной из улочек в Санта-Кроче она наткнулась на витрину магазина масок и карнавальных костюмов. От подобных лавочек эта отличалась тем, что в ней за столом сидел молодой человек, художник, и расписывал готовые белые маски – керамические или из папье-маше. Очевидно, это была его мастерская.

В конце концов, надо же привезти домой хоть какой-то знак моего пребывания здесь, подумала она и вошла в магазин.

Он был просторнее, изысканнее остальных. Кроме уже готовых – повсюду висящих, разложенных на полках и столах – масок, в витрине красовались на безголовых манеке-

нах несколько роскошных костюмов – атласно-кружевных, отделанных парчой и бархатом. Мужские шляпы с плюмажами, дамские шляпки с вуалями и павлиньими перьями, веера, «золотые» высокие гребни с цветными стеклышками, перчатки, трости и сапоги со шпорами... по-видимому, это был процветающий магазин. И, судя по ценам, перворазрядный.

Художник отложил кисточку, которой раскрашивал наполовину готовую маску с красным клювом, поднялся и, улыбаясь, предложил свои услуги.

Она выбрала несколько женских масок и стала примерять их перед большим овальным зеркалом в массивной виньеточной раме. Это были бесстрастно улыбающиеся женские лики. У одного надо лбом поднимался веер из голубых перьев. У другого золотая тесьма выложена змейкой на лбу и вдоль левой щеки, третий разделен вертикальной полосой – лунная и солнечная половины...

Она надевала и снимала эти лики, подолгу всматриваясь в странно оживающее отражение в зеркале, и думала о том, что образ маски цельнее и мощнее образа лица: грозное обобщенное воплощение родовых признаков человеческого облика, когда отсечены все проявления, все знаки жизни, остались только символы – проломы глазниц, скальный хребет носа, окаменелая возвышенность лба, гранитная неподвижность скул и подбородка. Устрашающий тотем веселья...

Венецианская маска, думала она, притягивает и отталкивает своей неподвижностью, фатальной окаменелостью черт. Как бы человек, но не человек – символ человека. Пугающая таинственность неестественной улыбки, застылое удивление. Иллюзия чувств. Иллюзия праздника. Иллюзия счастья.

– Синьоре очень идут все маски, – сказал мягко по-английски художник. – Трудно выбрать, я понимаю... Примерьте-ка эту.

Он снял со стены незаметную вначале, с загадочной улыбкой, маску совершенно естественного цвета. Ни рисунка, ни тесьмы, ни цветных стеклышек...

– Какая-то... скучная, нет? – с сомнением спросила она, между тем зачарованно следя за вкрадчивыми приглашающими руками истинного венецианца и на плывущую к ней, парящую в его руках, и одного с руками цвета, маску.

– О, не торопитесь, синьора. Тут есть секрет. Примерьте, и вы будете поражены сходством...

– Сходством... с кем? – спросила она недоуменно.

– С вами! – воскликнул он торжествующе. – Эта маска приобретает сходство с лицом любой женщины, которая ее надевает.

Он протянул ей мастерски сработанную из папье-маше застылую улыбку, помог завязать ленточки своими ловкими пальцами, метнулся куда-то в сторону и вдруг набросил ей на плечи темно-синий бархатный плащ.

...Да, это было ее лицо: строение носа, надбровных дуг, скул и подбородка художник скрупулезно воссоздал в маске, даже улыбка – чуть насмешливая – принадлежала именно ей, это была ее жесткая – для посторонних – улыбка. Как это ни дико, самыми чужими казались ее собственные, в провалах маски, глаза – они глядели потерянно, загнанно, как из темницы. И волосы, неестественно приподнятые маской надо лбом, выглядели как впопыхах нахлобученный на темя парик.

И анонимный, до пят, бархатный плащ, скрывающий руки и всю фигуру, и анонимная маска прекрасно были приспособлены для карнавала – праздника прятков, праздника исчезновения.

Не двигаясь, она смотрела в зеркало – туда, где на ее месте стояло чужое, поглотившее ее нечто, аноним... *ничто*. Она исчезла, ее не было.

Как – меня *уже нет!!*

О, какой ужас сотряс все ее тело! Она задохнулась в душной личине небытия, закашлялась и, захлебываясь горловыми хрипами, стала срывать страшную маску с лица. Испуганный продавец пришел ей на помощь, и, что-то бормоча под его недоумевающим взглядом, она выбежала из магазина.

И долго сердце ее колотилось...

Бежать, думала она, бежать из этого города с его призраками, с высокой водой, способной поглотить все своей темной утробой, с его подновленными, но погибающими дворцами, с их треснувшими ребрами, стянутыми корсетом железных скоб... Бежать из этого обреченного города, свою связь с которым она чувствует почти физически.

Она стояла на мостике, навалившись на перила, бурно дыша туманным сырým воздухом, не надевая капюшона, предоставив потокам живого дождя свое живое лицо и растрепавшиеся после примерки множества мертвых личин медно-каштановые, дышащие пряди волос.

...В течение дня она несколько раз еще возвращалась на Сан-Марко, смотрела, как убывает «аква альта», как три подростка, громко перекрикиваясь по-французски, бродят по колено в воде...

На закате дождь иссяк, вода ушла, мостки были мгновенно разобраны, с крыш, портиков, колонн на омытую водой площадь слетелись голуби...

Она забрела в дорогой бар, в арках Старых прокураций, и долго тянула наперсточек кофе за немислимую цену... Смотрела в огромное окно на божественный собор, этот сгусток италийского гения. Несмотря на близкие сумерки, воздух посветлел. Фата-моргана, укутанная в холодный пар лиловых фонарей, медлила на переходе к ночи...

И так же как с площади ушла вода лагуны, смятение и страх, весь день гнавшие ее по хлипким мосткам с одной улочки на другую, ушли, оставив в этот последний вечер мужественное смирение, чуткую тишину души. И, вспоминая застылую улыбку напугавшей ее маски, она думала: а может быть, эта длящаяся в веках эмоция и есть – победа над забвением?..

...Щенок подстерг ее на Калле Каноника, на ступенях одной уже запертой сувенирной лавочки. Ее напасть, роковое, можно сказать, предназначение: всю жизнь подбирала и пристраивала бродячих псов. Юрик, в доме которого прожили счастливую судьбу целых три спасенных ею пса, говорил: «Тяжелая собачья печать лежит на твоей творческой биографии». (Возможно, это было пожизненное искупление за мучения несчастных, лысых, лишенных иммунитета мышей.)

Мимо фланировала воспрявшая после спада воды, вечно оживленная публика – людям в голову не приходило бросить взгляд под ноги. Щенок сидел на верхней ступени крыльца и молча дрожал крупной дрожью.

– Да, – сказала она вслух, – вот этого мне здесь и не доставало. Это уже венецианский карнавал по полной программе.

Наклонилась, подняла его, мокрого, и он заискивающе лизнул ей руку, как-то сразу приманиваясь, удобно усаживаясь на сгибе локтя, как ребенок. Помесь ризеншнауцера с терьером, похоже, так.

Что же это за падла тебя выкинула, милый? Или сам убежал, заблудился?

– Ну, и что мне с тобой здесь делать? – бормотала она. – Это ж не Иерусалим. Мне завтра уезжать... А? И в отель нас с тобой не пустят.

Она вдруг поняла, что ни разу с тех пор, как вышла из отеля утром, не вспомнила об Антонио. Это был хороший знак, знак освобождения от морока.

– Ладно, рискнем, – сказала она щенку. – У нас с тобой там маленький блат («Потусторонний брат», – добавила себе), авось проскочим... Полезай в куртку, за пазуху, вот так. Увеличим грудь почтенной синьоры номеров на пять.

Но и блата не понадобилось: Антонио спал, сидя за стойкой и положив голову на локоть. Несколько мгновений она смотрела на его курчаво-античный затылок, не зная, как быть, но вдруг вспомнила, что утром не сдала ключ от номера и, значит, может попасть туда незаметно.

Бесшумно поднялась на свой пятый этаж и затем минут двадцать занималась щенком: вытерла его насухо полотенцем, накормила булкой. Он и маслины съел, жадно выхватывая из ее пальцев.

Интересно, проснулся ли тот, внизу... И почему она так упорно избегает ни о чем не подозревающего, учтивого молодого человека?

– Тебе молока бы сейчас немного... – сказала она, глядя на осваивающего комнату щенка. – В ресторане, конечно, есть... но как бы нас с тобой не поперли... Может, попросить у... портье?

И так, наскоро придумав себе это молоко для щенка, выскочила из номера, словно гналась сама за собою.

Спускаясь по лестнице, еще бормотала «берегись-берегись...» или что-то вроде этого, но вслушиваясь уже не в голос свой, а в шум закипающей в кончиках пальцев, разносящейся к вискам температурной крови...

Он по-прежнему дремал, опустив голову на сгиб локтя, с края стойки свисала изумительной нервной красоты кисть левой руки... Кисть правой, полуоткрытая, с чуть откатившимся карандашом, лежала покойно рядом.

Устал за день, подумала она. Ведь он учится и наверняка много рисует, и....

...вдруг эти большие смуглые кисти рук латинянина, длиннопалые дерзкие руки, так похожие на... Она даже отшатнулась от страшной волны отчаяния, ярости и жалобной тоски. Невыносимое, мучительное желание схватить его руки, вцепиться в них, удержать в своих обрушилось на нее так, как с грохотом и треском обрушивается срубленное дерево в лесу... Она даже зажмурилась, ожидая удара. И, уже не чувствуя себя, дотронулась до его теплой со сна руки... сжала ее...

От неожиданности он вздрогнул, поднял голову и несколько мгновений ошеломленно смотрел на нее, переводя взгляд на их сплетенные руки. Она молчала. И он молчал и не отнимал руки, наоборот, конвульсивно стиснул ее ладонь.

– Я подобрала щенка... – наконец проговорила она.

– Что?! – хрипло спросил он, не сводя глаз с их бесстыдно переплетенных, жадно осязающих друг друга пальцев...

– Я... подобрала... щенка, – повторила она вязким языком, уже понимая всю обреченность дальнейшего. – Он там... у меня в номере... и голоден... и я не знаю, что делать...

Выпростала из его судорожных ладоней свою руку, стала подниматься по лестнице и спустя несколько мгновений услышала, как молча и вкрадчиво-легко он взбегает за нею.

...И бесконечно долго длился их изматывающий подъем – эта погоня, этот бег по крутым ступеням, короткие, как ожог, поцелуи, ее бессильная борьба с его торопливыми губами, и наконец, когда – не помнила как – они очутились в номере, это спасение, укрытие в тесно сплетенный жар, в сладко пульсирующий лабиринт их не знакомых друг другу тел, этот мучительно-истомный мерный бой колокола в лоне тяжелых вод лагуны... медленный подъем до той парящей, той последней ступени, той обоюдоострой судороги-трели, освобождающей, отпускающей их тела на свободу...

Первое, что он сделал: проворным движением рук пробежал по ее волосам, вынимая все заколки, вытаскивая шпильки и разворачивая, разбрасывая по подушке медно-темные пряди.

– Что ты делаешь? – Она качнула головой, как Медуза Горгона, в попытке сбросить с головы клубок змей.

– Любуюсь... Я уже три дня, сил нет, мечтаю распустить эту медь...

Лег навзничь рядом и рассыпал ее волосы по своему лицу.

– ...Если писать их, – бормотал он, чуть ли не деловито перебирая перед глазами прядь за прядью, – что пойдет в дело? Охра, английская красная... крон желтый... кадмий оранжевый... Или нет! – сиена жженая, английская красная, охра... Такие волосы бывают у ирландок, – сказал он и приподнял густую прядь, приглашая ее саму полюбоваться. – Смотри на лампу: на просвет сквозит пурпурно-золотым... Рубиновые, пунцовые волосы...

Она вспомнила: когда Миша нежничал, он любил вести вслед за расческой ладонью по ее волосам, приговаривая библейское: «Дай мне, дай мне этого красного...» Ее волосы, Мишина гордость...

– Ты никогда их не стригла?

– Никогда в жизни...

– Почему?

В самом деле, почему? В детстве Рита не давала, тряслась над ее гривой, как скупой рыцарь над золотом. Потом Миша не позволял стричь...

Она подумала: если струсить и дать себя в руки эскулапам и позволить проделать с собою все, что проделывают в таких случаях, выигрывая несколько месяцев у смерти, то она, конечно, потеряет свои прекрасные волосы, как Самсон, и так же останется беззащитной.

И вдруг вспомнила, как тем, последним их летом, их последними каникулами Антоша заглянул в ее комнату – она расчесывалась перед зеркалом – и вдруг метнулся на кухню, вернулся с огромным разделочным ножом и, схватив ее за волосы, намотал на руку, оттянув голову назад, как будто хотел перерезать ей горло. Крикнул:

– Сейчас обрежу!!!

– Пусти, дурак! – завопила она. Прибежал дядя Сергей, спросил:

– Ты спятил?

– На нее все пелятся из-за этой пакли! – орал Антоша. – Надоело! Выйти на улицу с ней невозможно! Ни один мимо спокойно не проходит!

Дядя Сергей засмеялся, сказал:

– Да, брат, это тяжело.

Отобрал нож и проговорил с тихим, странным, тяжелым значением:

– Оставь ребенка в покое.

Хотя она вовсе не была ребенком, осенью ей исполнилось семнадцать, а через год в эту пору она уже вышла замуж...

Снизу долетали предупреждающие крики гондольеров и возбужденные возгласы подростков, нанявших в складчину гондолу. Проплыла растяжечка расхожей мелодии «Домино», и опять все стихло...

Он потянул с нее простыню, медленно, как фокусник стягивает платок с корзины, и таким же круговым, завершающим движением фокусника отшвырнул простыню в сторону.

– Ты белая, белая! – бормотал он по-итальянски. – Какая ты в этом матовом свете белая, золотая! Смотри, я тебя, как святую Инессу, сейчас укрою твоими волосами... Уау! – воскликнул он, едва ли не с благоговейным ужасом, стоя над ней на коленях. – Смотри, они достают до бедер!

– Я гораздо старше тебя, – сказала она, задумчиво его разглядывая.

– Замолчи! – воскликнул он. – Ты говоришь так, чтобы сразу прогнать меня из своей жизни...

– У тебя есть семья? – спросил он немного погодя.

– Да, – сказала она. – И я очень их люблю.

– Почему же ты пришла ко мне? – с ревнивой обидой спросил он.

Что ответить ему, этому юноше? Потому, что я умираю? Потому, что великая слабость, и малодушие, и истошный страх толкают к чужому и ты давишься воплем: «Спаси меня, держи меня крепче!» – ибо именно этого нельзя крикнуть единственному любимому человеку, нельзя его испугать, ведь он и так беззащитен, и так не отличит ее смерти от своей...

Она сказала:

– Потому, что ты напомнил мне покойного брата... который, видимо, любил меня... так получается... и не смог справиться с этой любовью...

– Понимаю, – сказал Антонио, быстро переворачиваясь на живот и заглядывая в ее лицо. – И ты решила через меня уплатить старый должок.

Он обиделся, поняла она, и погладила его длинное, как серп месяца в окне, густобровое худое лицо.

– Нет, дорогой. Ты очень милый... просто я...

...Просто она вспомнила последнюю встречу с Антошей: тот приехал из Ленинграда – уже неизлечимо *плохой*, с трясущимися руками, невыносимый, грубый. Ломился в дверь, страшно матерясь. Она была на сносях и тяжело носила и все-таки не выдержала, впустила брата. В прихожей он кинулся целовать ей руки, обзывал сукой, требовал денег, которых – вот ей-богу же, не было... (Они с Мишей снимали квартиру и жили на две стипендии.)

Когда брат хватал ее руки, что было нелепо и страшно, она заметила, что у него выбиты два нижних зуба, а на правой руке не хватает фаланги на указательном пальце. И ужаснулась: как же он кисть держит! Какая там кисть, Господи... Воровато оглянувшись на дверь комнаты, где в угрюмом бешенстве сидел Миша, она сняла и сунула брату в ладонь единственную фамильную ценность – обручальное кольцо, оставшееся от покойной бабушки. И, прижав к пульсирующему животу его покалеченную, такую родную руку, завывала в голос, как никогда в своей жизни не выла – ни до, ни после.

И этого Миша не вынес – выбежал в прихожую и выгнал Антошу. Тот корчился, сгибался пополам, пытался и делал вид, что страшно веселится. Хихикал и говорил Мише: «Ты хозя-аин, хозя-аин, да?» – тыча изуродованным пальцем в ее большой живот.

И больше она его не видела. Через три недели, когда Миша с Ритой забирали ее из роддома, Рита вдруг зарыдала и призналась, что Антошу пять дней как схоронили. Миша побагровел и цыкнул на бабуку, с которой всегда был церемонно вежлив. Наверное, боялся, что у жены пропадет молоко.

Всю жизнь Миша ненавидел ее брата, еще с тех школьных лет, когда после годовых экзаменов она на целых три месяца пропадала из его жизни. И даже после свадьбы, и даже после гибели Антоши муж все-таки продолжал ненавидеть его, как живого...

Все это было так давно, Господи, и вот, когда ее собственная жизнь истончилась до этих трех дней венецианской обреченной свободы, в этом круге потустороннего света Антоша подстерег ее, всплыл из глубины ее судьбы и, повернувшись на живот, заглядывает в глаза и на чужом для них обоих языке задает единственный свой вопрос.

– Ты со мной? – услышала она. – Какая ты странная – прекрасная, резкая женщина. Все твои соотечественники – люди резкие.

– Ты имеешь в виду израильтян? – спросила она. – Да нет, они люди, в общем, сердечные. Хотя горластые... А я вообще-то из России.

– Ты совсем не похожа на русскую, – возразил он.

– А я и не русская.

– Так кто же ты? – рассмеялся он, укладывая голову на ее плече. – Что ты за птица? О, какое дивное оперение...

Она улыбнулась. И они обнялись и долго тихо лежали, обнявшись. Она думала о том, что за всю свою жизнь не подарила близким ни капли настоящей нежности, той нежности, что от неги, от слезной сладости прикосновений... В этом-то и была ее беда, в природе и сути ее жесткого сильного характера. Нет, никогда она не была сухарем, наоборот – в работе ей часто мешала властная чувственность. Но все диктовалось боязнью «показаться», все было ошкурено ее колкой насмешкой, отстраненной иронией по отношению к друзьям, мужу, дочери...

Да, она была из тех Дебор, Эсфирей и Юдифей, которыми так богата история ее народа, – сильные, слишком сильные женщины без проблеска тайны во взгляде... Потом они стреляли в губернаторов и вождей, взрывали кареты, сидели в лагерях...

Она лежала рядом с этим чужим итальянским мальчиком и чувствовала к нему только ровную сильную нежность, понимая, что это чувство останется с ней до самого конца.

– А я, – вдруг сказал он, – я тут напридумывал за эти три дня о тебе кучу разных вещей. Ужасно хотел знать: кто ты, может, актриса... Ты очень независимая, сильная женщина... Почему ты так странно замолчала, когда я сказал, что занимаюсь живописью?

– Потому что живописью занимался мой покойный брат, на которого ты так похож.

– Как его звали?

– Антонио, – сказала она, помолчав.

– Ты меня разыгрываешь! – воскликнул он. – Скажи еще, что и сама ты – художница!

– О, нет... У меня вполне прозаическая профессия... Я командую мышами.

Он захохотал, переспросил и опять захохотал. Уселся на постели, скрестив по-турецки ноги.

– С тобой не скучно... И что ты с ними делаешь? Дрессируешь?

– Почти. Два раза в день я колю мышей.

– Зачем? – Он вытаращил глаза.

Ну что я морочу ему голову, устало подумала она. К чему это все, на чужом для нас обоих языке... Вслух неохотно сказала:

– Это эксперимент. Скрупулезная научная работа.

– Ты – химик? – спросил он.

Тогда она зачем-то стала объяснять, уверенная, что он не поймет ни слова, но вскоре выяснилось, что именно это – проще простого, что научный английский многочисленных ее статей прекрасно приспособлен к тому, чтобы в этой постели объяснять этому мальчику смысл ее работы.

– Я – охотник, киллер, понимаешь? – сказала она. – Охочусь за такими белками, онкогенами... Я объясню тебе, медленно, и ты поймешь... Биохимия, моя наука, изучает молекулярные аспекты жизни... Бывает, что клетка теряет контроль над процессом деления, начинает делиться неограниченно, и тогда ее потомство может заполнить собой весь организм... Короче, в раковых клетках происходит мутация в белках, и эти белки – онкогены... Ты что-нибудь понял?

– Я понял все! – запальчиво воскликнул он. – Не считай меня идиотом. Дальше!

– Так вот, моя работа – это выяснение механизма: почему мутация в онкогенах заставляет клетку делиться? Почему? – Она замолчала на секунду, но вдруг встрепенулась и крикнула: – Почему, по-че-му-у?! – И перевела дыхание... – Это многолетняя научная работа. Меняется тактика, меняются объекты, каждый ответ рождает новый вопрос... Например, апоптозис – это наука о клеточной смерти. В каждой клетке есть программа ее смерти. Иногда организму надо, чтобы какое-то количество клеток отмерло ради дальнейшего развития

всего организма. Так вот, если клетка почему-то перестает слушаться команды «умри» – это раковая клетка... Я конструирую искусственные белки, которые могут убивать клетки рака в организме человека. Такие белки – они называются иммунотоксины – как раз и направлены против раковых клеток... Это жестокая борьба за баланс... То есть за жизнь. Так канатоходцы идут по проволоке с шестом...

Они сидели на постели, друг против друга, в одинаковых позах, и ей казалось, что это Антоше она рассказывает все содержание своей жизни за прошедшие без него годы. И он внимательно слушал, хмурия свои густые брови...

– Ну, так вот, – объясняла она, – беру клетки, пораженные раком, добавляю иммунотоксины, клетки умирают. И тогда мы в лаборатории говорим друг другу: «Все хорошо, они умирают...» Такая у нас поговорка...

– Так ты с твоими друзьями победила эту страшную болезнь? – спросил он с мальчишеским интересом.

– Пока нет... Хотя на этом пути уже много сделано, много... Понимаешь, каждая решенная проблема порождает новый вопрос. Море вопросов... Но... рано или поздно – нет, скоро, конечно, скоро! – мы скрутим рак, как скрутили чуму, холеру, туберкулез... – И повторила жестко: – Мы скрутим его!

Он молча смотрел на нее, потом спросил серьезно:

– Ты, наверное, настоящий ученый?

Она поймала себя на том, что прежде на этот вопрос наверняка бы отшутилась.

– Ну... в общем, да... – проговорила она, неловко усмехнувшись. – В общем, в своем деле... в своем деле, понимаешь? Да, у меня много статей, много ссылок на меня в международных научных журналах... Впрочем, это неважно, чепуха... Я заморочила тебе голову.

Накинула халат, прошла по комнате, закурила. Щенок спал в кресле, обморочно закатив глаза, подергивая ухом.

– Что мне с ним делать? – спросила она задумчиво. – Что делать с собакой, а?

– Хочешь, я возьму его в Падую? – предложил Антонио. – Там у тети дом с огромным садом. Ему будет хорошо.

Он вскочил с кровати, присел на корточки перед спящим щенком, потрепал его за ухом.

В этом непринужденном бесстыдстве есть что-то от языческих статуй, подумала она, – обнаженный юноша-пастух с собакой... Вслух сказала:

– Конечно, возьми. Это хороший итальянский пес. Ему положено жить в Падуре...

– А как мы его назовем? – спросил он.

– Кутиа.

Он поднял брови:

– Как? Кутио?

– Ну, приблизительно... А сейчас, дорогой, иди... Пора.

– Хочешь, я попрошу Марио, он меня подменит? Я могу остаться с тобой до утра!

– Нет! – сказала она твердо. – Я устала, милый. Тебе лучше уйти.

Он не возразил больше ни словом. Молча оделся, подошел к ней и, запустив обе ладони в ее волосы, несколько мгновений напоследок любовался ими, встряхивая, пересыпая на пальцах... Наклонился и кротко, медленно поцеловал ее – в голову, в глаза, в губы – одним касанием...

– Ты красива, как Юдифь Джорджоне...

– Меня скоро не будет! – вдруг сказала она.

– Я знаю, ты утром уезжаешь. Мы увидимся еще когда-нибудь?

– Нет, мой мальчик...

– Скажи мне что-нибудь по-русски...

Она засмеялась, взяла в пригоршню его колючий подбородок, сжала. Скользнула указательным пальцем по линии верхней, «уленшпигельской» губы... Подумала мельком, что, если б у нее был сын, а не дочь, возможно, она была бы нежной матерью...

– Все хорошо, – сказала она шепотом, – они умирают...

И он тихо засмеялся в ответ.

...Под утро ей приснилось, что она забыла, как Миша смеется. Во сне она силилась вспомнить эту его характерную гримаску – полуудивления-полувосторга, которая всегда появлялась на губах до первого раската смеха... но все разваливалось, не получалось, Миша отворачивался...

Внезапно короткая и острая вспышка ужаса опалила ее: она поняла, что уже умерла, и самым верным доказательством было то, что она забыла, как Миша смеется. Ей так и намекали какие-то темные люди, она во сне называла их *служителями*, что вот, видите, подтвердить свою благонадежность вы не можете, так что пройдемте, пройдемте... и тянули к ней вежливые, но твердые руки, а она цеплялась за косяк и умоляла дать ей минуту, она представит, докажет, сию минуту...

Ей говорили, что отныне она будет женой Антоши, – но он же мне брат! – с ужасом возражала она, – ничего-ничего, это раньше он был брат, а теперь, когда вы оба *очистились*, вы можете стать мужем и женой...

...Мишино бледное лицо таяло в сыром тумане, он поворачивался к ней спиной, уходил по мокрым деревянным мосткам, балансируя для равновесия руками, как в школе ходил в спортзале по снаряду «бревно»...

Вода поднималась и доставала уже до края мостков...

Миша уходил, бросал ее, он пожелал остаться ей чужим в этом обреченном городе, вернее, таинственном *городе обреченных*, на летучем острове в лагуне.

В темноте она потянулась к телефону и почти ошупью набрала знакомый номер.

– Юрик, – проговорила она, когда наконец сняли трубку, – и все-таки я уверена, что это – туберкулез.

– Где ты? – крикнул он. – Который час? Откуда ты звонишь?

– Но согласишься, что это очень смахивает на туберкулез, – настойчиво повторила она.

Он помолчал. Прокашлялся со сна, сказал тихо:

– Что ты вытворяешь? Тут Мишка сходит с ума. Говорит, ты прислала какой-то пошлый прогулочный факс, как будто тебе плевать на...

– Ничего, завтра я вернусь, и жизнь опять будет прекрасна... Можешь сказать ему о туберкулезе. Он будет потрясен.

– Ты помнишь, о чем мы договорились? – спросил Юрик.

– Не волнуйся, помню. В понедельник, в восемь. А ты-то все понял? Утром звонишь Мише и сообщаем эту неприятную новость насчет...

– ...туберкулеза, – угрюмо повторил он.

– Молодец, пятерка!

И повесила трубку.

...Она уезжала на катере в аэропорт. Оглядывалась и смотрела на шлейф Венеции за плечом, на вздымающиеся в небо фанфары печных труб.

По лагуне было разлито кипящее золото утра, и пар поднимался от воды к белому сияющему горизонту.

Она уезжала.

Надо было дожить отпущенное ей время, как доживал этот город – щедро, на людях.
В трудах и веселье.

Джаз-банд на Карловом мосту

*На Пражских улицах лукавое еврейство меня видало в адских
детских снах, где жизнь исполнена томительной надежды, лыжня
небес блестит передо мной. Верни меня и преданно и нежно держать
дитя над мертвою толпой.*

Анна Горенко

Прага одухотворена более, чем любая другая столица Европы, возможно, потому, что населена не только людьми.

...Загадочную вольную жизнь ангелов, святых и покровителей церквей и соборов – всех тех, кто венчает пражские крыши, карнизы, порталы, аттики и фасады зданий, – обнаруживаешь не сразу. Эта приветливая компания апостолов и мучеников, дам и галантных кавалеров мушкетерского вида, таинственных фигур в сутанах и королевских мантиях открывается неожиданно, едва ты поднимаешь голову к небу на первые капли дождя, чтобы определить – не пора ли доставать зонтик. И тогда над тобою распахивается неведомая и обаятельная жизнь обитателей высот. Они прячут где-то там, над головами проходящих внизу туристов, – святые Войцехи и Сигизмунды, короли Карлы, Рудольфы, Вацлавы... Их далекие каменные улыбки, раскинутые крыла, зажатые в кулаках жезлы и шпаги пригласительно и зазывно летят в пространствах разновысоких крыш.

Если бы все они ожили в одночасье, задвигались, заговорили, – о, какая шумная, бурливая жизнь, какие страсти, хохот и стоны, речитатив и торжественный хорал разнеслись бы над крышами!

Вышним голосам этой горней жизни вторили бы улюлюканье, кряхтение, свист и песни причудливой жизни пражских марионеток – всей этой болотной нечисти, развешанной под потолками и на дверях бесчисленных лавок. На Карловом мосту вы пройдете за раз мимо пяти разноумелых ловцов, под музыку магнитофона ведущих в сетях нитей, свисающих с крестовины, шутов, королей, хасидов, крестьян и барышень в шляпках, колдунов и ведьм на метлах...

* * *

В первый же день на мосту Легионов нас взяла на абордаж маленькая разбойная команда прогулочного ботика: две девочки лет по шестнадцати, одетые в матроски, зазывали туристов на речную прогулку. Расписывая все выгоды путешествия, особенно напирала на то, что при отплытии каждому будет выдана кружка пива. Мы растерялись, притормозили свой туристический бег, замечтались, подыскивая нужные слова, и через мгновение были затащены по совершенно деревенской обрывистой тропке под мост, к дощатой пристани, откуда через пять минут и должен был пуститься по Влтаве ботик под темно-зеленым тентом. Забравшись под тент, мы уселись на деревянные скамьи, и вскоре юные русалки, сияя торжеством, притащили еще добычу – зазевавшегося японца... Нас было уже четверо, и мы принялись тихо роптать, поэтому, когда по тропинке сверху на пристань скатились два краснотелых пузатых немца, капитан верно рассудил, что дальше ждать рискованно, и – отдал швартовы.

Лет девятнадцати-двадцати, он был похож на гимназиста старших классов на каникулах. Над выгоревшей тельняшкой поршнем гулял кадык на длинной шее, украшенной голубыми бусами.

– Я дам вам пива у Карлова моста, – объявил он, и действительно, когда проходили под Карловым мостом, ботик, замедлив ход, но не останавливаясь, притерся к плоту, на котором в глубокой, переливчатой от сине-зеленых бликов тени стоял такой же гимназист с подносом в руках, переминаясь и озираясь во тьме. За три секунды произведено было торопливое вручение подноса с бокалами пива, ботик затарахтел дальше и вынырнул из-под моста на простор речной волны.

Наш капитан совмещал обязанности гида со своим прямым судоходным занятием. С самого начала осведомился, на каком языке вести экскурсию, и, выяснив, что языков по крайней мере три – английский, русский и немецкий, – честно переводил каждую фразу трижды. Спасало положение только то, что за всю экскурсию он, собственно, и произнес всего несколько фраз. Мотор настойчиво тарахтел, капитан, переложив румпель, или как там это называется, бросался на середину ботика, громко объявляя лично мне что-нибудь такое: «Там, на гора, это есть наш парламент!», тыча пальцем в объект, переводил это на английский и немецкий и вновь устремлялся назад, к корме. Лицо его блестело от пота, тельняшка колыхалась на тощем животе, кадык судорожно дергался над голубыми бусами.

– Вот та, с высокий башня, это есть Градчаны...

Подозреваю, что прогулочный этот бизнес не был зарегистрирован в налоговом управлении Праги...

* * *

На заходе солнца черепичная короста пражских крыш становится пурпурной. Змеинная чешуя Влтавы медленно вползает под каменные аркады мостов, на Староместской площади расцветают гроздя круглых фонарей, оживают большеголовые, как оловянные солдатики в кокардах, фонари на Карловом мосту, и навесные, тяжелые – в улочках и переулках, – затепливаются топленным восковым светом...

В этот час надо оказаться в Йозефове – старом еврейском гетто, где-нибудь в районе Майзелевой улицы, пойти по направлению к Староновой синагоге. И дожидаться, когда поток туристов иссякнет. Лучше бы пошел дождь, загоняя их в бары и отели...

Тогда становится слышна протяжная тишина давно умерших звуков, сложная тишина погасшего хохота, оживленного шепота влюбленных, шелеста юбок, поскрипывания башмаков и сандалий, монотонного распева молитв, звонких детских окриков, трубного гласа глашатая средневековой общины: «Слу-у-у-шайте, любезные ребоса-ай!!!» – тихий стон времен, выдох уставшего Бога, легкое покашливание небес, изошедших пеплом...

Что осталось от пражской еврейской общины, от этой тысячелетней бурливой жизни, от всех этих женщин и мужчин, невест, учеников ешив, благочестивых раввинов и благотворителей-богачей; что осталось от сапожников, портных, белошвеек, мясников?... (Тех самых мясников, которые еще в XII веке, при короле Владиславе, одолели – с ножом в одной руке и горящим факелом в другой – напавших на еврейский город раскольников-флагелланов, изгнали их за пределы города и за мужество удостоились награды: король разрешил внести в герб еврейской общины чешского льва о двух хвостах...)

Старинное еврейское кладбище – странный заброшенный город, по плотности обитателей на одну могилу превзошедший все известные в мире примеры, – надгробные плиты как покосившиеся скрижали Завета, окаменевшие страницы книг... Кажется, что плиты не воткнуты в землю, а, вспоров ее покровы, вкривь и вкось выросли из недр могил. Когда – в час явления Спасителя – вся эта могучая мертвая толпа повалит из тесных недр на свет божий, что за великая армия отмщения встанет за плечами моего народа! Пока же Спаситель медлит, этот безмолвный город – всего лишь полный очарования старины эпос...

* * *

Не странно ли, что самыми поэтичными и сакральными личностными символами Праги (и источниками торговли, кстати) являются два еврея – Франц Кафка и рабби Лёв, и оба при жизни находились с нею в натянутых, мягко говоря, отношениях.

Легендарный средневековый раввин Иегуда Лёв Бен-Бецалель, известный еще под именем Магарал из Праги, – праведник, каббалист и мудрец, заступник еврейской общины перед властями Чехии, из глины сотворил своего Голема – первого в мире робота, – чтобы тот охранял общину от коварных соседей, то и дело норовящих протащить в еврейский город мертвое тело христианина, дабы в очередной раз обвинить евреев в ритуальном использовании христианской крови.

Кафка же...

Прямо на стекле входной двери дома номер пять по улице «У Ратуши» написано на иврите: «Здесь родился Франц Кафка».

Однажды, незадолго до смерти, он сказал своему учителю иврита Фридриху Тибергеру, глядя в окно: «Вон там была моя гимназия, на другой стороне улицы – университет, а чуть левее – контора, где я служил... В этом маленьком круге, – и обрисовал пальцем в воздухе, – заключена вся моя жизнь...»

В 1902 году он пишет другу и соученику Оскару Поллаку: «Прага не отпустит нас обоих. У этой мамочки острые когти. Только подпалив ее с двух сторон – на Вышеграде и Градчанах, – можно было бы спастись, бежав без оглядки».

* * *

...Утром на Градчанах, в сувенирной лавке Музея искусств, какой-то рыжий в кепке – зубы вперед и вразброс – спросил у моей дочери Евы что-то по-английски, кивая на Бориса. Оказывается, тот напомнил ему друга из Израиля. Ева сказала, что мы тоже из Израиля. Он оживился, стал объяснять, что живет в Чикаго, сопровождает в деловой поездке своего босса, очень важного господина, известного архитектора, генерального директора международной дизайнерской фирмы, лауреата национальных премий...

Я, подойдя ближе, что-то сказала Еве по-русски – он воскликнул, улыбаясь:

– А, так вы из России? – и как-то расслабился, приспустил штандарты.

Мы перекинулись еще парой слов, уже на родном языке. И он сказал:

– Ну, я пойду, а то босс, сука, подымет хай...

Так вот, тем утром на Градчанах, в сувенирной лавке Музея искусств, я купила две книги о Кафке: одну, прекрасно переведенную и красиво изданную, – Макса Брода, друга и биографа писателя; другую – изданную местным издательством, хозяева которого, очевидно, решили, что из-за близости двух славянских языков текст Гаральда Салфеллнера вообще не нуждается в переводе.

Едва бросив взгляд на глянцевую обложку и прочтя: «Кафка был Прага, и Прага была Кафка. Прага никогда не была собой так совершенно и типично, как при жизни Кафки», – я застонала от восторга и немедленно купила этот дивный сувенир. Он действительно таил внутри много чудес.

В тот же день мы уехали в Карловы Вары.

* * *

Лесистое ущелье божественной красоты – клены, сосны, буки, каштаны, дубы и ясени, – по дну которого протекает речка Тепла, вся бурлящая горячими источниками, – это и есть Карловы Вары.

По берегам речки, по дну ущелья протянулись несколько улиц бисквитных, сахарно-кремовых на вид домов, а также костелы, церкви и разнообразные памятники всем великим, кто пил здесь воды (а пили их все – от Карла IV и Петра I до голливудских кинозвезд последнего заплыва).

Вверх поднимаются скалы, поросшие почти отвесным лесом, тропинки которого топтали десятки гениев. Эти именные маршруты так и называются: «стезка Гете», «стезка Шиллера». В хвое и кипучей листве там и тут выглядывают островерхие крыши открыто-глянцевых вилл... Тишина остановившегося, как бы утонувшего в ущелье времени такая, что наверху слышен шорох колес проезжающих внизу автобусов и машин.

Улица, высланная по дну ущелья, разрезана солнцем вдоль – одна сторона выбелена и ослеплена резким горным светом, другая спит в глубокой тени. Мостовая – кубическая брусчатка из того же местного известняка. И с утра до ночи вдоль террас летних кафе и ресторанов снуют пролетки, управляемые опереточными кучерами, и пересыпается звонкий цокот копыт – почти ушедшая из звуковой среды обитания человечества музыка...

Из окон мансарды нашего пансиона открывался величественный вид на старинный гранд-отель «Пупп». К ночи он выплывал, мягко и таинственно освещенный, – так в фильме «Амаркорд» мимо ошеломленных жителей Римини, в жемчужном тумане и скрипичных волнах далекой музыки, проплывает корабль... Все шесть дней нашего пребывания в Карловых Варах меня не оставляла музыка из этого любимого мною гениального фильма Феллини.

Итак, из душистой тьмы летней горной ночи выплывал Гранд-отель: торжественные львиные лики, ангелок на фронтоне левого крыла, изгибающий арфу, как лук, высокая витая решетка западного входа, черная парча балконных решеток, лепнина, колонны...

Все это напоминало тот первый миг, когда отзвучала увертюра и пустая оперная сцена уже явлена за медленно и бесшумно взмывшим занавесом, когда вот-вот должны появиться главные герои со своими ариями, дуэтами и трио, когда из-за правой кулисы сию секунду повалит хор в камзолах и белых чулках, а из-за левой на жилистых петушиных ногах выбежит кордебалет в красных корсажах... когда через миг вся сцена должна бурно грянуть, дружно затопать, оглушить зрителей в партере литаврами и барабанами народного праздника... Однако дирижер никак не взмахнет палочкой, хор застрял в правой кулисе, кордебалет – в левой. Сцена пустынна, и пауза длится, приводя публику в недоумение...

Так длилась ночь, дышала тишина, курились струйки пара над молчаливой Теплой, Гранд-отель стоял на якоре, сияя разноцветными огнями, и до самого рассвета ни единой живой души не возникало под голубым фонарем...

С рассветом открывались двери пансионов, отелей, домов и вилл, и вереницы курортников тянулись за первой утренней порцией мутной водицы омерзительного, между нами говоря, вкуса...

Как и сто лет назад, горячие источники пульсируют в старинных резных деревянных колоннадах, в которых неспешно прогуливается публика, раскланиваясь со знакомыми.

Целебные воды Карлсбада пьют мелкими глотками из специальных кружечек – плоских, с изогнутыми носиками, – прислушиваясь к действию воды в глубинах организма...

В недавно построенной огромной колоннаде целый зал отдан единственному источнику, который выведен из глубины две тысячи метров и бьет мощной струей вверх метра на четыре.

Люди приходят посидеть в этом зале: воздух вокруг горячо озонирован, пахнет солью, как бывает в пещерах со сталактитами, дышать тяжело, влажно... В соседних залах другие источники, закованные в колонки, льют воду порционно, усмирненными струями. К этому же и близко не подойдешь.

Среди публики много говорящих по-русски – и из России, и из Израиля. Вообще, среди пенсионеров Карловы Вары необычайно популярны. Идешь вдоль колоннады и, как пес, вылезший из воды, мысленно отряхиваешь уши от брызг выплескивающихся отовсюду разговоров:

– ...Плов с чесноком! Ты помнишь этот плов, Миша? Ты помнишь, как я ошпарила руку, а она бежала за мною и кричала: «Пописай на руку!»

– ...Роза, все – нервы! Ты принимаешь на ночь варлянку, и утром у тебя – ни печени, ни спины, ни приступ астма!

– ...Рассказывал, как тяжело больна жена Маневича. Он так переживает, на нем лица нет!

– Ай, оставьте, на нем есть лицо! На нем нет чистой рубашки. Ну, ничего, вот она умрет, ее похоронят, он найдет себе другую, и на нем будет чистая рубашка, и на нем будет лицо!

...Часам к 11 вечера почтенный курорт засыпал. (Ведь назавтра с утра уже вновь нужно тащиться к источникам с кружечками Эсмарха.) Погружались в сумерки сначала брусчатая мостовая, столики кафе, манекены в витринах. Солнце еще цеплялось за высокий цилиндр кучера и красно-белые султаны на лошадях, затем убегало выше, пятнало крыши вилл, бликовало умирающим светом в верхушках сосен и елей, – а в это время понизу ущелья уже загорались фонари, витрины, окна баров и таверн, из дверей ресторанов и пабов урчал саксофон в сопровождении фортепьяно и подвизгивающей скрипки, гранд-отель «Пупп» всеми палубами вплывал в излучину Теплы, курящейся струйками целебных вод...

Ночь орошала ущелье испариной горных трав.

* * *

Это были дни, когда дома у нас загноилась очередная война, и мы еще не подозревали – до какой степени она будет изматывающей.

На улицах Израиля взрывались автобусы, адские заряды разрывали в клочья людей – в кафе, дискотеках, школах и детских садах.

Утром мы торопились включить новости:

Германия настаивала на эмбарго.

Во Франции горели синагоги.

Итальянские интеллектуалы в знак солидарности с палестинцами устраивали уличные манифестации ряженных, опоясанных смертоносными поясами...

Жизнь шла своим чередом. Старая шлюха Европа оставалась верна своей антисемитской истории.

В эти дни, морщась и заставляя себя глотать целебные воды из плоского носика керамической кружки, я читала обе купленные мною книги о Кафке. И прекрасно составленная, образцово изданная книга Макса Брода, и жалкая, косноязычная, в черной глянцево-обложке, в которой иллюстративный материал именовался «картинным», – обе они оставляли во мне странное чувство бесконечной, вневременной горечи.

Сейчас я провожу все послеобеденное время на улицах и купаюсь в ненависти толпы к евреям. «Паршивое племя», так сейчас называют евреев. Вполне естественно покидать то место, где тебя ненавидят (сионизм или чувство принадлежности к народу здесь вовсе ни при чем). Героизм тех, кто остается, – это героизм тараканов в ванной, которых тоже невозможно извести.

Я только что смотрел в окно: конная полиция, готовая взяться за штыки жандармерия, кричащая разбегающаяся толпа, и здесь, наверху, у меня омерзительное ощущение позора, что живешь под постоянной опекой.
(Из письма Ф. Кафки М. Есенской)

В сущности, его жизнь – если взглянуть на нее с высоты оставленного за спиной человечества трагического двадцатого столетия, – выглядит – событийно – вполне благополучно. Родился в обеспеченной семье, состояние которой неуклонно росло, – доходы от галантерейного магазина Германа Кафки увеличивались, дело расширялось, поэтому семья беспрестанно меняла квартиры. В доме держали кухарку, домоправительницу, француженку-гувернантку...

Затем – Императорская и Королевская Староместская гимназия... В безграмотной книжке оказалась целая коллекция замечательных, редких фотографий. На одной из этих добротных старых карточек новоиспеченный гимназист Кафка – в коротких узких штанах, чулках и высоких шнурованных ботинках из отличной, по всему виду, кожи – стоит в спокойной позе. Рука непринужденно в кармане пиджачка; короткая стрижка над оттопыренными ушами и дерзкий взгляд укротителя гувернанток.

Кстати, и на более поздних фотографиях, когда его тревожность и страх уже в полной мере выплескивались на страницы писем и дневников, а болезнь уже проступала во впадавших висках, взгляд по-прежнему тверд и спокоен, губы сдержанно улыбаются. В те времена длинной выдержки фотоаппарата человек успевал подготовиться к вечности и встретить славу во всеоружии. Хотя, как известно, меньше всего на свете Кафка стремился к славе. Он вообще не думал о ней.

Итак, гимназия, затем университет. Гражданское, торговое, вексельное право; римское, каноническое и немецкое право; общее и австрийское государственное право; наконец – экзамен на степень доктора прав (оценка – удовлетворительно).

Что мучительного было в жизни этого молодого человека?

Опять же, друзьями обделен не был. Истовой преданности и воловьего усердия одного только Макса Брода хватило бы на творческое наследие дюжины писателей! Хотя в те времена, когда они развлекались по ночным барам, варьете и публичным домам, ни один из них не думал о творческом наследии.

Дорогой мой Макс! Давай вместо ночной жизни с понедельника на вторник организуем шикарную утреннюю жизнь. Встретимся в пять или в полшестого у столба Девы Марии – значит, даже женщины будут присутствовать, – и пойдем в «Трокадеро», или в «Хухли», или в «Эльдорадо». И если это нам понравится, сможем потом выпить кофе в саду или на Влтаве, или же прислонясь к плечам Йожки. Оба варианта приемлемы. Как бы в «Трокадеро» нам не стало дурно; есть люди и побогаче, у которых к шести утра не остается гроша в кармане... Словом, промотавшись в пух во всех винных кабаках, мы заваливаемся в последний, чтобы выпить по чашечке кофе, столь необходимой нам, и только потому,

что сначала были миллионерами... способны заплатить еще за одну – последнюю – чашку утром...

(Из письма Макс Броду, 1908)

Итак, оживленные юность и молодость, прошедшие в пражских и венских кафе, в купальнях на острове Жофин и на малостранском берегу Влтавы (у Кафки и собственная лодка была, на которой он любил кататься); литературные вечера, кружки, концерты – Прага во времена Кафки была одной из культурных столиц Европы, – поездки в санатории...

Несколько квартир, в том числе отдельный крошечный домик на Золотой улочке, на который сейчас ходят дивиться туристы. Как?! Как мог в такой тесноте существовать великий писатель?! Но домик этот был только кабинетом Кафки, он там работал. А жил совсем в другом месте. Во дворце Шёнборна.

Ну, служил, да. А кто не служил? Службу свою, правда, не любил – а кто ее любит? Ну, болел – а кто не болел? Чехов? Гаршин? Достоевский? Вообще, вся семья Кафки вполне здорова и заурядна.

Откуда же эти страшные сны, этот непреходящий кошмар, которые пугают и завораживают читателей его прозы? Откуда это – о, сбывшееся вполне! – предощущение вселенской беды, кошмара, катастрофы? В чем дело – в природе таланта? Но это даже не качество и величина таланта, а глубина, на которой он залегает. Как источник глубинных недр: чем глубже залегает, тем выше, мощнее выброс, тем сильнее и шире озонировано пространство вокруг...

* * *

В 1920 году началась его краткая мучительная связь со студенткой медицинского факультета из Вены, невероятно талантливой писательницей Миленой Есенской.

Двадцатичетырехлетняя Милена предложила Кафке перевести его «Кочегара» на чешский язык. Для него это было потрясением. До сих пор ни одна из женщин, с которыми его связывали нежные чувства, – ни Фелица Бауэр, ни Юлия Вогрызкова, – не проявляла интереса к его сочинениям. И он влюбился страстно, беспомощно, с присущей лишь его бескомпромиссной натуре оголенной нежностью.

Пишите, пожалуйста, адрес почетче, когда Ваше письмо уже находится в конверте, оно почти является моей собственностью, и Вы обязаны обращаться с чужой собственностью бережливее. У меня, кстати, создалось впечатление, что одно письмо потерялось. Тревожность еврея! И это вместо того чтоб волноваться – получаете ли Вы мои письма вовремя!

(Из письма Ф. Кафки М. Есенской)

Она состояла в несчастливом браке с пражским литератором Эрнстом Поллаком – сибаритом, сердцеедом, вздорным и жестоким человеком, ради которого в свое время порвала с семьей, которого, вероятно, продолжала любить и – даже ради Кафки – не находила в себе сил оставить.

Максу Броду, некоторое время находившемуся с ней в переписке, Милена рассказывала, что ей «приходилось самой зарабатывать себе на хлеб... и иногда, чтобы не голодать, подносить чемоданы пассажирам на Венском вокзале»...

Не так уж долго длился этот странный хрупкий роман, мучительный любовный треугольник, в который помимо воли был, как в тюрьму, заключен болезненно щепетильный Кафка.

О том, насколько тягостна была ему эта роль, может говорить тот факт, что писем Милены не сохранилось. Очевидно, он уничтожил их после разрыва. Но эта связь, без сомнения, стала самой глубокой любовной бороздой его жизни, ибо то, о чем он – нелюдимый и замкнутый человек – решался ей писать, можно было открыть только родной душе...

...Мы жили тогда на Целетной улице, в доме напротив помещался магазин готового платья, в дверях которого всегда стояла девушка, продавщица. Я наверху готовился к первому государственному экзамену. Мне было в то время чуть больше двадцати, стояла невыносимая летняя жара, с утра до вечера я мотался по комнате в бессмысленной, раздражающей меня зубрежке, торчал у окна с омерзительной историей римского права в зубах...

В конце концов мы с ней сталкивались при помощи знаков.

Мы должны были встретиться в восемь вечера, но, когда я спустился вниз, она уже стояла с другим. Впрочем, это не имело ровным счетом никакого значения: я боялся всего мира, а значит, и этого человека. Даже если б его и не было с ней рядом, мой страх оставался неизменным.

Но девушка, взяв его под руку, незаметно кивнула мне, и я пошел за ними. Так мы дошли до Стрелецкого острова, где выпили по кружке пива (я – за соседним столиком), затем поднялись и двинулись дальше. Прогуливаясь, я дошел за ними до дома на улице Масна, где жила девушка. Ее ухажер стал прощаться, и она вошла в парадное.

Я остался стоять, немного погодя она вышла ко мне, и мы отправились в одну из гостиниц на Малой Стране. Все это возбуждало меня, волновало и отталкивало одновременно... И в номере гостиницы я чувствовал то же...

Под утро мы возвращались домой по Карлову мосту, было по-прежнему жарко и красиво, и я был счастлив: наконец-то мне не мешало это вечно стонущее тело, а главное, я был счастлив оттого, что все это оказалось не таким уж отвратительным и грязным, как я боялся.

Потом я встретился с этой девушкой еще раз, дня два спустя, и после свидания сразу уехал в свежее летнее утро, на улице слегка пофлиртовал с какой-то барышней и больше уже не мог смотреть на эту продавщицу...

(Из письма Ф. Кафки М. Есенской)

В тот период, когда их роман угасал, вернее, рвался с мучительной силой, Милена Есенская написала несколько сумбурных оправдательных писем Максу Броду, близкому другу и до некоторой степени ангелу-хранителю Кафки. Читать эти письма тяжело. Тяжело держать руку умирающего, ловить горячечный пульс, смотреть, как губы захлебываются последним глотком воздуха...

Дело не в любви, бог с ней, с любовью, – она мимолетна, как и вся наша жизнь. Но его письма к ней и ее жалобный прерывистый голос, ее исповедь почти чужому человеку – это блистательная литература, диалог не слышащих, но тонко чувствующих друг друга художников, в котором она поднимается едва ли не до его уровня владения словом.

...Для него (Кафки. – Д.Р.) жизнь вообще – нечто решительно иное, чем для других людей, и прежде всего: деньги, биржа, валютный банк, пишущая машинка для него совершенно мистические вещи, они для него – поразительная загадка... Он не понимает простейших вещей. Были Вы с ним когда-нибудь на почте? Когда он шлифует текст телеграммы и, качая головой, ищет то окошко, которое больше понравится, когда потом, ни в малейшей степени не представляя, почему и зачем, переходит от одного

окошка к другому, пока не попадет к нужному, и когда отсчитает деньги и получит сдачу, пересчитывает ее, обнаруживает, что ему дали на крону больше, и возвращает эту крону девушке за окошком. Потом медленно уходит, пересчитывая деньги еще раз, и, спустившись с лестницы, видит, что возвращенная крона принадлежала ему. И вот теперь Вы беспомощно стоите рядом с ним, он переминается с ноги на ногу и раздумывает, что же делать. Возвращаться слишком сложно, наверху скопилось много народу. «Так оставь это», – говорю я. Он смотрит на меня с ужасом. Как можно оставить? Не то чтобы ему было жалко кроны. Но ведь это нехорошо... Он долго рассуждал об этом. Был очень недоволен мной. И так повторялось, в различных вариантах, в каждом магазине, в каждом ресторане, с каждой нищенкой. Раз он дал нищенке две кроны и хотел получить одну крону сдачи. Она сказала, что у нее ничего нет. Мы добрых две минуты стояли и раздумывали, как поступить. Наконец ему пришло в голову, что можно оставить ей обе кроны. Но, едва сделав несколько шагов, он был уже не в духе. И этот же человек, разумеется, дал бы мне немедленно, с восторгом и вне себя от счастья, двадцать тысяч крон. Но попроси я его о двадцати тысячах и одной кроне, и нужно было бы разменять деньги, и мы не знали бы где, тогда он задумался бы всерьез, как поступить с этой одной кронею, которая мне не уплачена. Его неловкость по отношению к деньгам почти такая же, как и по отношению к женщинам. Таков же и его страх перед службой. Однажды я посылала ему телеграммы, звонила по телефону, писала, умоляла ради Бога, чтобы он приехал на один день. Тогда мне это было крайне необходимо. Я заклинала его жизнью и смертью. Он не спал ночами, мучился, писал письма, полные самоуничижения, но не приехал. Почему? Он не мог попросить, чтобы ему дали отпуск. Не мог же он сказать директору, тому директору, которым до глубины души восхищался (серьезно!) – ведь тот так быстро печатает на машинке, – не мог же он сказать, что едет ко мне. А сказать что-нибудь другое – снова письмо, полное ужаса, – как же так? Лгать? Лгать директору? Невозможно. Если его спросить, почему он любил свою первую невесту, он отвечает: «Она была такая деловая», и его лицо прямо-таки сияет почтением.

Ах, нет, для него весь этот мир был и остается загадочным. Мистическая тайна. Нечто, чего он не может осуществить и что он с трогательной чистой наивностью высоко ценит, потому что оно «деловое». Когда я рассказывала ему о моем муже, который изменяет мне сотню раз в году, держит, словно в плену, меня и многих других женщин, его лицо светилось тем же почтением, как тогда, когда он говорил о директоре, который так быстро печатает на машинке и поэтому такой замечательный человек, и как тогда, когда он рассказывал о своей невесте, которая была такой «деловой».

...Человек, который быстро печатает на машинке, или человек, который имеет четырех любовниц, столь же непостижимы для него, как и крона на почтамте и крона у нищей. Непостижимы потому, что полны жизни. Франк же не может жить. Франк неспособен жить. Франк никогда не поправится. Франк скоро умрет...

(Из письма М. Есенской М. Броду)

Сегодня я почти ничего не делал, лишь сидел и время от времени читал, прислушиваясь к легкой боли, работающей в моих висках.

Весь день я занимался Твоими письмами, я был в состоянии мук, любви, беспокойства и совершенно неопределенного страха, который выше моих сил.

И это притом, что я еще не решился перечитать письма второй раз, а полстраницы одного из писем даже и в первый раз. Почему человек не может смириться с тем, что живет в этом странном, постоянном самоубийственном напряжении (однажды Ты намекнула на что-то похожее, я пытался тогда посмеяться над Тобой), и временами пытается освободиться, вырваться из него, как безрассудный зверь (и даже похож на этого зверя, и упивается этим безрассудством), сотрясаясь всем телом, словно от электричества, испепеляющего его.

Не знаю точно – что я вообще хочу сказать, я бы хотел только записать причитания, не словесные, а безмолвные, которые проступают в строчках Твоих писем, я могу это сделать, так как, по сути, они мои...

(Из письма Ф. Кафки М. Есенской)

Что такое его страх, я чувствую каждым нервом. Он испытывал страх и передо мной, пока не узнал меня...

Я точно знаю, что ни в одной санатории его не вылечат. Он никогда не будет здоров, Макс, пока будет испытывать страх... Этот страх относится не только ко мне, но ко всему, что лишено стыда, например к плоти. Плоть слишком обнажена, видеть ее для него невыносимо. Тогда я смогла с этим справиться. Когда он испытывал страх, то смотрел мне в глаза, мы ждали какое-то время, словно не могли отдышаться или у нас болели ноги, и немного погода все проходило. Не было ни малейшего напряжения, все было просто и ясно, я таскала его за собой по холмам в окрестностях Вены – сама убегала вперед (он ходит медленно), а он топал за мной, и стоит мне закрыть глаза, как я сразу вижу его белую рубашку, и загорелую шею, и как он отдувается. Целыми днями он был на ногах, то в гору, то под гору, на солнце и ни разу не кашлянул, ужасно много ел и спал как сурок, – он был попросту здоровым человеком, и болезнь его в те дни была для нас чем-то вроде легкой простуды. Если бы я тогда уехала с ним в Прагу, то осталась бы для него тем, чем стала. Но я обеими ногами намертво вросла в эту землю, я не могла оставить мужа и, возможно, была слишком женщиной, чтобы найти в себе силы обречь себя на такую жизнь, о которой точно знала, что это будет строжайший аскетизм до конца дней... Впрочем, что тут ни скажи, все будет ложь... Я была слишком слаба, чтобы сделать и осуществить то, что, как мне было известно, единственное и помогло бы ему. Это и есть моя вина.

То, что относят на счет ненормальности Франка, напротив, является его достоинством. Женщины, с которыми он сходил, были обычными женщинами и не умели жить иначе, чем просто женщины. Я думаю, что скорее все мы, весь мир и все человечество, больны, а он единственный здоров, правильно понимает и правильно чувствует, единственный чистый человек...

(Из письма М. Есенской М. Броду)

Ты пишешь: *«Да, ты прав, я люблю его. Но Ф., я и тебя люблю»* – я читаю эту фразу очень внимательно, каждое слово, особенно перед этим «и» я останавливаюсь... Все это верно, Ты не была бы Миленой, если б это было неверно, а кем был бы я, если бы не было Тебя, – и лучше, что Ты это пишешь в Вене, чем если б Ты это говорила в Праге, – все это я понимаю, может быть, лучше Тебя; а все-таки из-за какой-то слабости я не могу справиться с этой фразой, это – бесконечное чтение, и, в конце концов, я пишу эту фразу еще раз, чтобы и Ты ее увидела и чтобы мы прочли ее вместе, висок к виску – (Твои волосы на моем виске)...

(Из письма Ф. Кафки М. Есенской)

...Разве возможно, чтобы то, что чувствовал этот человек, было неоправданно? Он знает о мире в десять тысяч раз больше, чем все остальные люди...

...Что он любит меня, я знаю. Он слишком добр и совестлив, чтобы разлюбить меня. Он считал бы это своей виной. Ведь он всегда считает себя виноватым и слабым. И при этом на всем свете нет другого человека, который обладал бы такой неслыханной силой: абсолютно безоговорочной тягой к совершенству, к чистоте и правде...

...Я мечусь по улицам, ночи напролет сижу у окна, порой мои мысли разлетаются, как искры от затачиваемого ножа, и в сердце словно впивается рыболовный крючок, понимаете, совсем тоненький крючок, и разрывает его – с такой тонкой и такой острой болью...

(Из письма М. Есенской М. Броду)

* * *

...Мы обедали на террасе отеля «Элефант», нам принесли запеченного карпа с овощами и по бокалу пльзенского светлого.

Смеркалось, и единственная главная улица курорта, к вечеру опустев, припомнила свой возраст, притихла, остепенилась.

Время от времени мимо террасы мелькали крытые кожей, бархатные изнутри пролетки, запряженные нарядными, чаще вороными, лошадьми. Проехал даже целый свадебный кортеж из четырех экипажей. В первом сидели невеста с женихом, ревниво поглядывая по сторонам – все ли смотрят? В трех других развалились родственники и друзья. Аккордеон и гитара нестройно, но очень весело сопровождали молодых.

– Я вспомнил наконец, – сказал мой муж, провожая взглядом пролетки, – почему все это мучит меня картинами детства. В Виннице, в старом кинотеатре имени Коцюбинского, мы с Ирккой Ковельман из шестого «Б» смотрели фильм о Иоганне Штраусе. Ты не помнишь, как он назывался? Кажется, «Сказки Венского леса» – эпизод, когда он, влюбленный, сам правит лошадьми...

– ...и птичка насвистывает ему мотив будущего вальса?..

– Да-да! И тогда он начинает подсвистывать мелодии и как бы обалдевает, такой счастливый...

– ...там еще солнечные пятна повсюду в кадре – на дороге, на белом платье его девушки... И музыка – то птичка, то он, а то струнные разом: тря-ам, тря-а-ам, тря-а-ам, там-там!..

– Тара-ри-ра-ра-а-а-м...

– Ну что вы как маленькие, – сказала наша пятнадцатилетняя дочь, – на вас официанты смотрят...

За соседним столиком сидели три арабские женщины. Как обычно – все в черном. Голова покрыта платком, чадра повязана на лице так, чтобы для глаз осталась лишь щель. У одной из трех женщин на эту щель были насажены очки в роговой оправе. Судя по всему, это была старшая жена...

В Карловых Варах отдыхает много богатых арабов из – похоже – Эмиратов, с большими семьями. Почти все они останавливаются в знаменитом отеле «Пупп», где номера стоят сотни долларов за ночь. Особенно те номера, в которых останавливались великие, некоторые даже носят их имена: «Шиллер», «Гете», «Бетховен»...

По тротуарам и в колоннадах арабские жены ступают плавно по двое, по трое, держатся вместе. Но в один из дней мне попалась навстречу одинокая женщина – в просторной черной галабии до пят, черном платке и чадре. Только глаза глубоко блестели в прорези. Грузно опустилась на скамейку рядом со мной, сквозь разрез платья показалось толстое колено в белом – кальсоны? Нет, шалвары. Она сидела, расставив толстые ноги в кроссовках «адидас», тяжело дышала... Потом достала откуда-то из кармана патрончик с таблетками, высыпала две на ладонь и закинула в рот (старые узбеки таким же опрокидывающим движением посылали с ладони в рот щепотку наса и медленно жевали его, сплевывая на землю длинной зеленой слюной. Это было так давно, в моем ташкентском детстве). Несколько минут мы сидели с ней рядом, искоса и незаметно касаясь взглядами друг друга, немыслимо друг от друга отделенные всем, чем только могут быть отделены две женщины; наконец почти одновременно поднялись и пошли в сторону колоннад с источниками – наступало время приема очередной порции карлсбадских вод...

...Дочь, взглянув на книгу Макса Брода, лежавшую на соседнем стуле, спросила:

– А Кафка бывал здесь?

– Наверняка... Это же так близко от Праги... Он вообще довольно много времени проводил в разных санаториях... Из-за болезни...

– Как ты думаешь, – спросил Борис, – его страхи и это постоянное ожидание ужасов коренились в болезни?

– Не знаю... Есенская в некрологе пишет, что, даже если б он и вылечился, он все равно подсознательно питал бы и поддерживал в себе болезнь...

Мы заговорили о Кафке, о том, что он сам и все его творчество – гигантская гипербола страха, космическое Предчувствие, о том, что все родственники Кафки погибли в концентрационных лагерях, как и все эти немецкие интеллектуалы. Говорили о том, что, не умри Кафка от туберкулеза, он погиб бы в лагере, как вся его семья, как Бруно Шульц, Януш Корчак, Фридл Диккер-Брандайс – десятки, сотни талантливых художников...

Именно здесь, на бывшем немецком курорте, в центре Европы, так близко от Праги, от Берлина, от Варшавы; именно здесь, где все исхожено великими – Гете, Шиллером, Бетховеном, Паганини, Мицкевичем... и несть им числа; именно здесь невозможно постичь: что же все-таки это было – в центре благословенной культурнейшей Европы, в середине просвещенного века, в эпоху расцвета техники, кино, промышленности, – этот могучий всплеск демонизма, когда (не в джунглях Гвинеи!) одни люди из других людей варили мыло и мастерили абажуры и кошельки – в том числе и из немецкоязычных интеллектуалов...

– История одержима эпилептическими припадками, – сказал мой муж. – У меня нет никаких иллюзий по поводу Ближнего Востока, равно как и по поводу всего остального...

– Какие вы нудники с вашим Кафкой, – сказала дочь. – Пап, закажи мне еще земляничного мусса...

* * *

Через день мы улетаем из Праги.

Оставался еще вечер, целый вечер, который мы решили посвятить прогулке по улочкам Нового Света.

Почему-то мне казалось, что здесь могли бы гулять Кафка с Миленой, – наверняка в то время здесь было еще тише, еще дальше от центра города...

Вогнутые стены старых, крошечных домиков на крутых безлюдных улочках Нового Света похожи были на ладони, удерживающие мягкий дневной свет. Вообще, это особенное место Праги. Рядом с позолоченными аркадами Лоретты, в переулках, – трава, пробившаяся меж булыжников мостовой. Два кузнечика прыгнули из-под моих сандалий и, лягнув булыжник, поскакали прочь.

Во всем этом бездна неизбывной деревенской идиллии и грусти. Надо всем этим – пронзительная тишина, разбиваемая отрешенным звоном колоколов карийона.

«Наше искусство – это ослепленность истиной, – напишет он в дневнике незадолго до смерти, – истинен лишь свет на отпрянувшем с гримасой лице, больше ничего».

Мы сидели под зеленым тентом в кафе на самом верху крутой улицы, спускавшейся к небольшой, тесно застроенной площади. Нижние этажи домов занимали лавки, на раскрытых дверях которых гроздьями висели марионетки с застывшими улыбками на деревянных лицах.

– Дайте-ка я вас щелкну, – сказала Ева, вскакивая с фотоаппаратом. – Вы смешно сидите: лица на солнце, а туловища в тени. Две отрезанных головы...

Она отбежала подальше, к ограде террасы:

– Эй, вы, – улыбка, улыбочка! Жизнь удалась!

Мы улыбнулись.

– Жизнь удалась... – сказал Борис. – Ну, почитай же нам еще из той дурацкой книжки...

Я действительно читала им особенно смешные фразы из книги Гаральда Салфеллнера. Главным образом чтобы подразнить дочь – привезенная из России в Израиль в возрасте четырех лет, она говорила по-русски с акцентом и забавными языковыми погрешностями.

Однако надо отдать должное: помимо редких фотографий Праги времен Кафки, в книжке было что-то наивное и подлинное – какие-то прежде неизвестные мне факты, свідетельства и близких, и едва знакомых писателю, но очень приметливых людей, несколько раз наткнулась я на поразительные признания... И в конце концов перестала обращать внимание на скверный перевод.

– Кстати, вон в том здании, где сейчас американское посольство, Кафка некоторое время снимал квартиру... Это дворец Шёнборна. Там впервые ночью у него открылось кровотечение. Он был один, это продолжалось долго, но под утро прекратилось, и впервые за много лет он спокойно уснул. А утром пришла служанка, как он пишет Милене, «добрая и преданная, но в высшей степени деловитая девушка», увидела кровь и сказала: «Пан доктор, долго вы уж не протянете...»

* * *

...В глубоких сумерках мы возвращались в свой отель через Карлов мост. Под очередной скульптурной группой сгрудившихся святых работал бродячий джаз-банд: контрабас, банджо, труба, саксофон и еще один музыкант, в котором, собственно, и заключалось особое обаяние этого музыкального коллектива. Он был похож на одного члена кнессета, израильского профессора математики. И одет – в отличие от товарищей – вполне по-профес-

сорски: светлая рубашка с расстегнутым воротом, мягкие полотняные брюки. Его инструментами были две стиральных доски, две сбивалки белков и десяток наперстков – по количеству пальцев.

С каждым номером он менял инструменты: вставал, вешал на шею короткую доску с поперечными частыми бороздами, в обе руки брал сбивалки и начинал поглаживать ими доску на животе. Вообще, эту доску он использовал в блюзах. Легкий шелестящий звук сбивалками по жестяным волнам придавал блюзовой мелодии волнуемую шепотливую доверчивость. В ритмически быстрых номерах садился, клал вторую, с более редкими волнистыми бороздами, доску на колени, обувал пальцы в наперстки – и целый табун скаковых лошадей срывался в бешеной скачке по невидимой прерии. В соло он вытягивал шею, пригибался всем телом, как кучер на козлах, устремлялся вперед, страдальчески-сладострастно морща глянцево-от пота лоб, пальцы же – как ноги жеребцов, несущихся галопом, – выбрасывались вперед, проскакивали по доске, неслись в разные стороны, заскакивали на жестяной обод доски и по нему отчебучивали сложнейшие ритмы...

Перед музыкантами стояла миниатюрная пожилая дама и, закрыв глаза за толстыми бифокальными стеклами очков, покачиваясь в ритме мелодии, кивала, поводила носом, отбивала такт шепотью маленькой пухлой руки с зажатой меж пальцами сигаретой – постаревшая стилига, джазменка, студентка 50-х, туристка, нечаянно повстречавшая на Карловом мосту тень своей юности...

* * *

Наутро мы улетали.

Я знала, что буду возвращаться в этот город при любой возможности. Так бывает с иными людьми, еще вчера тебе неизвестными, но совершенно уже и навсегда необходимыми после первого же рукопожатия, взгляда, улыбки, нескольких беглых фраз...

В самолете я дочитывала книжку Гаральда Салфеллнера. Листала страницу за страницей, уже не чертыхаясь, просто мысленно редактируя перевод. Иногда отводила взгляд в окно, где на белесой поверхности неба пепельной вулканической лавой вскипали опаловые глыбы – облака.

«Книга должна быть топором для замерзшего в нас моря», – писал он однокурснику, Оскару Поллаку, в 1904 году.

...Кafka умирал мучительно в санатории доктора Гофмана под Веной. С ним были Дора Диамант – его последняя и, наконец, благодарная любовь – и друг, врач Роберт Клопшток, который всячески старался облегчить его страдания.

«Когда Клопшток отошел от кровати, чтобы вытереть шприц, Франц произнес: «Не уходите». Друг возразил: «Я не ухожу». Франц глухим голосом ответил ему на это: «Но я ухожу».

Он умер утром 3 июня 1924 года.

«Его лицо такое неподвижное, суровое, недоступное, какой была его чистая и строгая душа. Суровое – лицо короля из самого благородного и древнего рода».

...Стюардесса разносила леденцы и горячие влажные салфетки – перед завтраком. Я дочитывала эту странную книгу-подстрочник, словно предназначенную для того, чтобы каждый в силу способностей и предпочтений вычитывал в ней то, что больнее всего ранит. Когда глаза уставали от мелкого шрифта, я закрывала их и, открывая, по-прежнему видела в окне пустынную бесконечную изнанку неба...

«Когда опускали гроб, Дора Диамант жалобно и пронзительно закричала, но ее рыдание, которое смог бы измерить лишь тот, к кому оно было обращено, заглушили звуки еврейской заупокойной молитвы, прославляющей Бога и возвещающей глубокую надежду на спасение...

Мы бросили в могилу по горсти земли. Я хорошо помню эту землю: светлую, тяжелую, глинистую, с мелкими камушками и дресвой, – она падала на крышку гроба с глухим стуком...

Затем скорбное общество стало расходиться...

Никто не сказал ни слова.

Наконец с совсем потемневшего неба пошел дождь...

(Из книги И. Урцидила «Вот идет Кафка»)

Коксинель

Из Рима во Франкфурт, куда пригласили меня на книжную ярмарку, я летела через Мюнхен, попутной дугой на маленьком сигарном самолете, на борту которого умещалось всего человек двадцать пять.

Как обычно, одними губами прошелестела дорожную молитву – на сей раз внимательно, истово, не пропуская ни буквы, стараясь и даже выслуживаясь, так как не была уверена, что Он присмотрит за *этим* моим самолетом. Одно из наказаний моей жизни: я, чьей стихией по гороскопу является Земля, вынуждена то и дело уноситься всем существом в такие непредставимые выси, куда даже мысленно боюсь перенестись. Я вообще боюсь всего, что не на земле. А тут еще такая утлая посуда, с такими случайными попутчиками на борту.

Летая израильским «Эль-Алем», я надеюсь на заступничество оглушающей меня оравы детей, нескольких ветхих стариков и обязательных в нашем пейзаже бодро-беременных женщин... На этот раз я не была уверена, что Его *Главный диспетчер небесных путей* станет стараться ради нескольких явных на вид чиновников и бизнесменов. О себе вообще не говорю. Ради меня Ему стараться совсем уж не стоило.

Впрочем, самолет летел низко, мне же, как человеку опорному, главное – видеть Твердь. Я сидела у окна и с неослабным тщанием дозорного собирала взглядом и держала, и вела за самолетом нитяную сеть дорог, ворс лесов и гребешок акведука, воткнутый в щетинку ущелья...

* * *

...Упитанные голуби с перламутровыми выдвижными шейками деловито прогуливались по брусчатке знаменитой площади. Вокруг звучал немецкий, на привыкание к которому у меня в Германии уходит обычно два-три дня. Мягкий, полноразличный, рокошующий немецкий – то остроконечный и шпильевый, то оплетающий язык серпантинном, то убегающий в перспективу, то закругленный и выющийся, как локон, – целый рой порхающих бабочек в гортани! – великолепно оркестрованный язык, который, в силу некоторых семейных обстоятельств, мне трудно слышать.

Мне вообще трудно вообразить кого-то еще из моего поколения, кто ужас истребления своего народа без конца примерял бы на личную, вполне благополучную биографию. Это тем более странно, что я не напрягаюсь ни на йоту и даже не особо задумываюсь. Более того, этой темой я специально не занималась никогда, просто это живет во мне, как, я слышала, живут какие-то особые микробы в печени.

Например, гуляем с приятельницей по кельнскому «Кауфхофу», ищем мне приличный пиджак для выступлений.

– Вот, – говорит она, щупая материю. – Смотри, какой элегантный, полосочка такая деликатная...

– Нет... – отвечаю я, бросив рассеянный взгляд на вешалку с пиджаком. – Это лагерная роба, и это в моей жизни уже было...

– Когда?! – мгновенно оторопев, спрашивает она.

И я так же рассеянно отвечаю:

– В середине прошлого века...

...День выкатился ясный, с уклоном в осень, но еще летний, что называется – благодатный, и это золотое щедрое благо отблескивало в иссиня-черной брусчатке площади, вспыхивало в перламутровых шейках гуляющих голубей, играло в веерном каскаде фонтана, посвященного какой-то исторической дате, томилось в банках, баночках, бочонках янтарного меда, в красных и желтых брусах и колобках сыров и прочей пахучей снеди на рыночных лотках, промеж которых мы часа два гуляли с друзьями.

Я рано устала, то ли утренний полет утомил, то ли Германия навалилась разом, сытно и ярмарочно урча, то ли заново поразило – как неуклонно и надежно затягивает ислам своим белым платком удавку на шее Европы... но я вдруг устала... и, поскольку вечером должна была выступать в русском литературном клубе, в конце концов взмолилась вернуться домой. У меня оставалось немного времени – отдохнуть перед выступлением.

– Погоди, – сказала подруга. – Успеешь домой... Вот, сейчас только завернем за угол и пройдем одним роскошным парком...

На мои возражения, что роскошных парков, эка невидаль, и в Москве хватает, и в Израиле... она возразила с ликующе-таинственным видом: «Нет, такого парка ты, ручаясь, еще не видела...»

И минут через пять мы уже входили в литые, изысканной резьбы, ворота Английского парка, от которых катилась вглубь широкая дубовая аллея, действительно величавой красоты. Минут десять мы шли по ней; в просветах между старыми стволами дубов, лип и акаций раскрывались поляны с купольными павильонами, открытыми беседками, яркими клумбами, и в разные стороны разбегались бесчисленные боковые аллеи – с легкими, резными на вид скамьями, откинувшими свои изогнутые шалью чугунные воротники.

Много росло здесь кизилowych кустов, и моя подруга рассказывала по пути, что немцы считают кизил несъедобным, а когда жена писателя Козицкого собирала кизил на варенье, какая-то сердобольная немка подошла и сунула ей в руку марку...

Завернув в одну из аллей, мы прошли по ней метров триста, повернули еще и еще раз и вышли, по-видимому, туда, куда стремились мои друзья. Они остановились, пропуская меня вперед.

Передо мной разверзлась... Нет, сначала так: огромную поляну перерезал по диагонали широкий ручей, по берегам которого... (несколько коротких мгновений в торжественном молчании моих Вергилиев я нащупывала по карманам очки, наконец нашла и надела) ... по берегам которого лежали на зеленой травке белые тюлени. Словом, это было лежбище нудистов, ничего особенного.

– Ну, полюбуйся, – со смешком процедил муж моей подруги, – вот так они и загорают. Причем течение в ручье сильное, однажды человека отнесло километра на два, он выкарабкался на берег и к своей одежде возвратился в переполненном трамвае... Ну, пойдем...

Мне предлагалось пройти напрямик, к противоположным воротам парка. Но я медлила...

Эта поляна с бледными дряблыми телами произвела на меня потустороннее впечатление... Словно передо мной широким полукругом располагались актеры, отдыхающие от сцен Дантова «Ада». Какая-то девица, вскочив, подала мяч сцепленными замком руками и с криком: «Гюнтер, Понтер!..» – побежала куда-то в сторону, тряся на ходу подбитыми ватой ягодицами...

Сразу же моя память явила сельскую баню в киргизском селе на озере Иссык-Куль, куда в детстве нас с сестрой вывозили на летние месяцы; мою ненависть к шайкам, горячей воде, плотному пару, жемчужным скользким телам голых женщин. Но главное – мою ненависть к публичности голого тела.

И это странно. Ведь я – дочь художника, выросшая в семье, где в шкафах стояло множество альбомов с репродукциями картин великих мастеров, писавших обнаженную натуру... И они легко открывались на любой странице.

Никогда тема обнаженности не была в семье запрещенной или стыдной.

Откуда же это тошнотворное пуританство в моей крови, странное, особо крепкое устройство внутренних тормозов, вроде того, как на конвейере по производству автомобилей некий умелец от бога срабатывает одну из деталей, тормозное устройство; и вот проходят годы, машина дряхлеет, ржавеет корпус, барахлит мотор... А хозяин, поглаживая баранку, удовлетворенно замечает: «Но тормоза – железные!»

Однако в юности, лет семнадцати, я получила путаное и сдавленное объяснение моему необъяснимому, очевидно врожденному, шоку от зрелища толпы голых людей. Помню – утро, на нашей террасе завтракает приехавшая накануне ночью дальняя родственница с Украины; ее вскрик при виде меня, еще заспанной, с гривой спутанных волос: «Готеню, вылитая Фира!» – и слезы на маминых глазах...

Это был первый и единственный раз, когда глухо и невнятно была проговорена история – вековая очередная история! – о семнадцатилетней девушке, чьей-то вековой очередной племяннице, дочери, сестре, расстрелянной под Полтавой (какая разница – где!) вместе с голыми соплеменниками. Правда, предварительно, когда их всех гнали к яме, она пыталась бежать. Но не успела... Боже, как я устала от своих собственных историй, от историй собственной семьи, которые всплывают в моей памяти в Германии с какой-то безжалостной, ослепительной вещественной обыденностью!

Мы шли, мои спутники подшучивали над загорающими нудистами, рассуждая: вот, мол, эти искренне полагают, что занимают высшую ступень человеческой духовности...

Пройдя до середины тропинки, я огляделась... Небольшая группа на расстеленных матерчатых ковриках увлеченно резалась в карты... Кто-то валялся с книжкой, кто-то, вполне в традициях рубенсовских полотен, раскинул самобранку на траве... Четверо толстяков играли в волейбол, и один из них, тряся животом и грудями, все время убегал за мячом в кусты... Я пригляделась и обнаружила несколько молодых, хорошо сложенных тел, а одна женская фигура, с великолепными плечами и грудью, с прекрасной линией бедер, выглядела просто сошедшей с полотна Боттичелли... Ни один взгляд не останавливался на этом божественном теле. Да и сама она, греясь на последнем летнем солнышке, с панамой на голове, в темных очках, рассеянно перелистывала страницы книжки...

Что стряслось со всеми этими людьми, смятенно думала я, почему от них отвернулся Эрос, могучий и грозный Эрос, сметающий все преграды на пути и требующий лишь одного – хотя бы лоскутка, хотя б лишь дымки на замкнутых страстью, на вздыбленных страстью чреслах?!

Я вдруг вспомнила рассказ моего мужа, подростком покинувшего семью и поступившего в Симферопольское художественное училище. Начинающие художники, как известно, штудируют бесконечные рисунки с натуры. На первом курсе это предметы, а начиная с третьего – натура живая... И вот, когда первокурсники бились над очередной постановкой – натюрморт с вазой и веером на вишневой драпировке со сложными складками, – вдруг рывком отворилась дверь, стремительно вошла женщина в халате и, бросив на ходу: «Привет, мальчики!», скрылась за деревянной резной ширмой, расставленной за подиумом. Борис, сидевший со своим мольбертом сбоку, увидел, как ловко, катящими движениями ладоней, она сворачивала бублик чулка с высокой белой ноги. Кровь бросилась ему в голову, тело ослабло... И кто-то из мальчиков вдруг крикнул истошно: «Тетя, это не здесь!!!»

Она выглянула из-за ширмы простодушным лицом, спросила: – А это что, не третий курс? – и, запахнув халат, выскользнула в коридор...

Через два года, когда за плечами студентов остался уже курс по анатомии, она позировала им обнаженной, и ребята спокойно и внимательно вглядывались в контуры женского тела, уверенной рукой растушевывая тени на листе...

...Я шла по тропинке меж голыми, размышляла о природе эротики и чувствовала себя безобразно, омерзительно одетой...

Вспоминала уроки физкультуры, потрескивание шерстяного форменного платья, стянутого через голову в раздевалке, – о, какая мука совершать все это среди беспечных и любопытных соучениц, как искоса сравниваешь себя с девочками! – судорожное (скорей, скорей, чтоб никто не увидел синих, перешитых из маминого халатика, штанишек!) облачение в спортивный, обтягивающий грудь костюм... Ах, боже ты мой, – выпирают лямки бюстгалтера! Как скрыть эту проклятую грудь, когда прыгаешь через козла?!

Неужели эти люди, думала я, – лениво развалившие ноги с застиранным исподом ляжек, с тускло седой растительностью в укрытии сокровенной тайны, отпустившие на произвол бледно-пупырчатые мешочки грудей, – не чувствуют, какая грозная слепящая энергетика идет от обнаженного тела, неужели не понимают, что одежду мы надеваем именно потому, что не знаем – что делать с этой свободой, с этой прамощью райских куш, с этим грозным господним проклятьем отнятого бессмертия?..

...А вовсе не потому, что холодно или неприлично...

Через пять минут за оградой парка я уже вновь шла меж мусульманских женщин в белых платках и длинных, до пят, серых платьях...

* * *

В воскресенье, перед вечерним поездом на Франкфурт, я просто бесцельно болталась по городу – мое любимое занятие что в Иерусалиме, что за границей. Свободное плавание мелкой шаланды в большом порту, юркой и независимой своей малостью лодочки – меж высоких бортов океанских лайнеров. Однажды в Одессе я видела такую шаланду. На ее борту желтой масляной краской было аккуратно выведено: «Берта Ефимовна»...

О, это особое удовольствие – блуждание по улицам немецких городов. Нравятся мне, нравятся – графическая устойчивость фахверковых домиков, багряный плющ дикого винограда, выстриженный вокруг мансардного окошка, убранного совсем уж игрушечной решеткой; винные подвалы с рядом горбоносых кранов на тупорылых мордах мореных бочек; нравятся корзинки с геранью и цветные колпачки петуний на каждом подоконнике, и вот эти их, старательно вымытые с мылом мостовые... А немецкие кондитерские! Кондитерские, похожие на парфюмерные магазины, и парфюмерные магазины, похожие на кондитерские... Кремовые оборочки на тортах, шедевры бело-розового китча... Все немецкие города, городки и деревни сошли с поздравительных открыток, напечатанных так добросовестно, что за века не истерлась, не слезла типографская краска ни с карминной черепицы, ни с зеленых холмов, ни с быстрых широких ручьев, ни с ярких лугов, на которых пасутся праздничные, аккуратно раскрашенные коровки.

А главное, что всегда меня странно интригует и беспокоит: непроницаемость улицы для постороннего – дома срослись боками, никто из чужих не проникнет в подъезды. Все дворы – внутри и на замке. Вот, думаю я с горечью, поэтому и чисто, поэтому и порядок, и безопасность, и неприкосновенность частной жизни. Не то что у нас – каждый дом на юру, на огляде, в любую подворотню любой прохожий бродяга прошмыгнет, просквозит, просвистит да и скроется...

Сначала, гуляя, я забрела на воскресный аукцион и долго бродила по большому, но тесному, из-за вплотную составленных вещей, пространству, разглядывая *antiquarische Möbel* – массивные секретеры, изящные трюмо, львинолапые кресла; будто приподнятые на цыпочках туалетные столики, клавикорды со слегка погнутыми серебряными канделябрами; бренчащие хрусталем люстры; целую кавалькаду бронзовых коней с всадниками и без; благородно потертые гобелены, картины, сервизы мейсенского фарфора под командованием пузатых супниц; наборы серебряных ножей и вилок, а также старые шляпки с подслеповатой вуалью, вышитые золотом ридикюли, пенсне, монокли, перламутровые лорнеты и бог знает что еще, на любой запрос...

Вот ты гуляешь, при этом говорила я себе, ты просто гуляешь по воскресному мирному городу, разглядываешь людей и всякое милое барахло; для чего, ради всех богов, ты вглядываешься в вензеля на этом столовом серебре? зачем крутятся в твоём мозгу слова «конфискованное имущество»? каких таких знаков, каких ушедших имен ты здесь ищешь, жестокой твоя, бессонная, не прощающая душа?!

Наконец на подиум взобралась троица из какого-то давным-давно виданного фильма: за конторку встал невысокий, но крепенький, сурового вида седой господин – перед ним уже лежал молоток на звонкой подковке, и двое расторопных парней, – они выносили и демонстрировали лоты, выставленные на продажу: первым, например, взявши за концы, развернули перед публикой умирающе-тусклый закат над далеким замком – на старинном гобелене.

Мрачный господин, отбивающий продажи, рокошующий, гремющий, перекатывающий меж щек, с удовольствием откусывающий *драй хундерт унд цванциг* обеими челюстями, по всей видимости, обладал недюжинным чувством юмора – публика, чинно сидящая на старых, не проданных когда-то стульях, расставленных довольно свободно прямо посреди зала, то и дело взрывалась гогочущим смехом. Аукционные рабочие тоже ухмылялись, вытаскивая на подиум очередную скатерть, набор ножей и вилок или необыкновенно изящное кресло с менуэтным прогибом в пояснице. Особым вниманием почтили небольшую бронзовую скульптуру вздыбленного коня, с рассыпанной гривой и напряженными чреслами. Несколько раз, простирая руку в сторону коня, господин произносил что-то, приводящее публику в состояние истерического хохота. Один из молодых людей даже развернул скульптуру – гениталиями и задранными копытами к зрителю, так что казалось – сей бронзовый скакун сейчас тряхнет гривой и вдохновенно рассыплет по клавиатуре сложный пассаж из Брамса.

Затем часа полтора я сидела на втором этаже в застекленном эркере уютной кондитерской над чашкой кофе и сложнейшим куском ревеневого торта, выложенного поверху грецким орехом, миндалем, присыпанного корицей и политого еще чем-то эдаким, вроде патоки, что было уже излишним... Отсюда, с высоты второго этажа, просматривался изрядный отрезок одной из центральных улиц с рядом имперских особняков, с мраморными колоннами, украшенными гривой завитков, неуловимо похожих на кремовые кружева недоеденного торта передо мной. Я писала в блокноте какие-то мысли, припоминала увиденные сегодня физиономии и сценки, поймала и привязала к страничке аукционного коня с бронзовыми копытами вздыбленного пианиста... Еле слышно в помещении играла музыка – что-то из итальянской эстрады... И незаметно, вначале нечувствительно, извне к этой музыке стало примешиваться какое-то... беспокойство. Я подняла голову и бросила взгляд вниз, на улицу. Она оставалась совершенно безмятежной, воскресная толпа текла по обеим сторонам, подтекая струйками из дверей магазинов и баров. Между тем беспокойство мое проросло вполне уловимыми ритмами приближающегося марша. И еще через минуту я увидела внизу эту группу: несколько юношей, на вид – от четырнадцати до восемнадцати лет, шагали строем, чеканя шаг, дружно выкрикивая мотив, который неуловимо формовал эту группу,

сообщал устремление чеканному шагу идущего впереди мальчиков взрослого человека с остроконечной палкой в руке. К острию ее был привязан то ли шарф, то ли лоскут какого-то флага. Взмахивая, как церемониймейстер, своим жезлом, он время от времени призывно оборачивался к группе подростков, и те взрывались с новой силой, выхаркивая два-три слова на каком-то яростном, неистовом подъеме...

Еще минуты три, пока они были видны, я со странным спазмом в груди, с окаменевшими плечами и мгновенно онемевшим затылком наблюдала этот победоносный проход по брусчатке мостовой. Потом они скрылись, а марш все продолжал потряхивать занавески, пока не растворился в нежно-рассеянной итальянской песне...

Ничего, сказала я себе, это ничего... Все подростки во всех странах непереносимы...

Я вспомнила похожую группу юношей в прошлогодней полуночной электричке, по пути из Бонна в Кельн. Они ввалились на одной из остановок – на полупразе оглушительного марша, в мокрых от дождя куртках, в одинаковых вязаных шапочках и в одинаковых шарфах, замотанных вокруг шей. С первого взгляда на них было ясно, что это болельщики выигравшей только что футбольной команды. Группу возглавлял мужчина лет сорока пяти, не умолкавший ни на минуту: поскольку часть ребят взбежала и уселась на втором этаже вагона, он немедленно организовал бурное соревнование – кто кого перепоеет. Через считанные минуты вагон электрички превратился во вместилище пытки, в звуковую душегубку: встав на площадке между этажами, так, чтобы видеть и ту и другую группу подопечных, дядька, сдвинув со вспотевшего лба вязаную красно-желтую шапочку, дирижировал маршеобразным гимном – как я догадалась, фанатов данной футбольной команды.

Группа нижних выкрикивала рубленый ритм куплета, и сразу, стараясь перепеть товарищей, этот куплет повторяли наверху. Тогда задетые за живое нижние напрягали связки и выдавали оглушительный второй куплет. Верхние отвечали куда более громким ором. Побагровев, нижние выдавали совсем уж неслыханным ревом следующий куплет под азартным управлением пучеглазого идиота... В ответ верхние... Словом, на третьем куплете пассажиры стали подниматься и переходить в другие вагоны... Я же не могла этого сделать: минут через двадцать меня должны были встретить в Кельне именно у этого вагона.

Обмотав голову шарфом, я подняла воротник куртки... а на восьмом куплете бесконечного марша просто зажала ладонями уши... Ничего, повторяла я себе в отчаянии, ничего, все футбольные болельщики во всем мире непереносимы...

* * *

А вообще мне нравятся немецкие уютные поезда: бесшумно разлетающиеся перед тобой двери, всегда исправные кнопки и рычажки, зеркала, ковровые дорожки, чистота клозетов... Нравится холодноватая учтивость пассажиров... В своих многолетних поездках по Германии я намотала столько сотен километров, перевидала столько лиц всех возрастов, напридумывала столько биографий и даже выслушала несколько душевных историй от словоохотливых попутчиков, не представляющих, что человек может совсем не понимать немецкого. И до известной степени они правы: идиш, на котором говорили дома мои бабушка с дедом, плюс школьный немецкий, казалось бы выброшенный из памяти за ненужностью, в сумме дают интуитивное, беглое ощупывание произнесенной фразы, понимание общего смысла речи собеседника.

На этот раз моими попутчиками в купе оказались двое молодых людей, по-видимому студенты. Вначале я даже приняла их за брата и сестру, так они были похожи – оба высокие, тонкие, с вьющимися рыжеватыми волосами, оба веснушчатые. Усевшись в креслах друг против друга, они сразу достали папки с листами – позже, искоса бросив на рукописи взгляд (не могу обойти вездесущим писательским взглядом ни одну пачку бумаги в чьих бы

то ни было руках), я по готическим шрифтам определила, что это копии со средневековых манускриптов. Судя по всему, ребята готовили курсовую. И всю дорогу, с разложенными на коленях бумагами, они негромко переговаривались, что-то уточняя, сверяясь и подправляя карандашом на листах. Всю дорогу, отвернувшись к окну, чтобы не смущать их, я видела в темном стекле, как несколько раз он брал ее руку, с зажатым в ней карандашом, и подносил к своим губам, и говорил что-то мягким голосом, с этими дивно скользящими «лихь» и «дихь» на лисьих хвостах гибких рокочущих фраз... Ну вот какие они милые, думала я, они же ни в чем, ни в чем не виноваты...

Мне было уютно, тепло, мне хорошо было с ними, я с редким умиротворением вслушивалась в немецкий и... и ни разу не оглянулась...

* * *

В маленький туристический городок на Рейне, на родину «Рислинга» и вообще в центр рейнского виноделия, нас с Мариной Москвиной вывезли, вытянув из толчеи Франкфуртской книжной ярмарки, мои приятели Алла и Дима, экскурсоводы, люди в русской Германии известные.

Замечательно везло мне в той поездке на погоду! Дни один за другим выкатывались как орехи – золотисто-багряные, сухие, полные звуков и запахов. В том году особенно нарядно цвела герань, свешивалась целыми кустами с длинных балконов, с подоконников; в палисадниках выглядывала цветными колпачками петунья, и хозяйки кое-где уже высадили бледно-сиреневые и рыжие суховатые пучки вереска «эрика».

Оставив машину на одной из улочек, мы побрели вверх, по направлению к площади, мимо кукольных фахверковых домиков в объятиях зеленого и багряного плюща, мимо серой каменной башни, на верхней площадке которой бронзово поблескивала виноградная гроздь колокольчиков, мимо бесконечных туристических магазинов и лавок, мимо бочек с молодым вином, которым угощали туристов.

Алла и Дима, наши гиды, по пути рассказывали всякие милые исторические байки, подробно объясняли разницу между традиционной черепицей и сланцевым шифером крыш...

– В народе черепицы называют Bieberschwanz, – говорил Дима, – так что можно сказать, что немцы кроют крыши бобровыми хвостами... А в альпийских городках еще стоят очень старые дома, крытые желтопесчаным золенхофенским сланцем с реки Альтмюльталь...

К сожалению, подобные важные сведения немедленно и даже свирепо выбрасывает моя память, как вышибала в баре вышвыривает за дверь случайно забредшего выпивоху. Причем, как и тот вышибала, моя память полагается только на собственное мнение и какие-то свои резоны. В результате, где бы я ни побывала, со мной навсегда остается лишь это: ящероподобные крыши, вздыбленные сизо-черным сланцем, бочки с вином, ярко-красная и бело-розовая герань и лица, лица, лица... например, лицо моей Марины, с которой мы встретились во Франкфурте после очередной разлуки.

Погоуляв, мы выбрали столик в одном из кафе на маленькой веселой площади, словно бы выстроенной в каком-нибудь своем тринадцатом столетии именно в предвидении этих будущих туристических толп, уселись, заказали луковый пирог с чаем.

Напротив кафе, на другой стороне улицы, трудился шарманщик. Краснолицый, плотный, с седой шкиперской бородкой, в картузе и с красной косынкой на шее, он то и дело обращался любовно укоризненным тоном к кому-то, кто сидел у него под ногами. Я выгля-

нула из окна: он разговаривал с белой болонкой, вокруг шеи которой вместо поводка была повязана точно такая же, как у него, красная косынка.

Мы ожидали, когда принесут заказ, и поглядывали на улицу. Шарманка играла и веселые разухабистые, и щемящие мелодии, вальсы, фокстроты, какие-то бравурные марши... Старик налегал на ручку, затем вздымал ее, и это движение придавало мелодиям нечто волнообразное, неуловимо корабельное. Время от времени он оставлял шарманку – это собака поднималась на задние лапы, требуя ласки, и он склонялся к ней или вовсе опускался на корточки и трепал псину по спине, упирался лбом в ее покатым шерстистый лоб, что-то приговаривая.

Когда шарманка умолкала, псина забегала в кафе и сновала меж столиками, приглашая посетителей угостить собачку чем бог послал. Мы, конечно, угостили...

Время от времени туристы, чаще японские, подходили к шарманщику и просили покрутить ручку. Он принимал в широкую красную ладонь монетку и с улыбкой уступал свое место.

Странно много вокруг было инвалидов в колясках.

– Здесь недалеко, в горах, есть потрясающий санаторий, – пояснила Алла, – всемирно известный, опорно-двигательный... Люди со всех стран съезжаются... Недешево, конечно, но эффект потрясающий... Я там тоже однажды проходила курс массажа. Все началось с жуткого остеохондроза...

– Погодите, – сказала Марина, поднимаясь, – я сейчас...

И дальше в открытую дверь и в окно кафе мы наблюдали, как она подбежала к старику, что-то сказала, и он уступил ей шарманку. Правой рукой наяривая мелодию, левой она приобняла шарманщика за плечи, они улыбались, и в этом полуобъятии, оба – голубоглазые блондины, оба румяные, с ровными белыми улыбками – казались родственниками, а уж Марина, счастливица, и впрямь всех ощущает родней...

Я сидела за столиком, смотрела на них в окно и тщетно пыталась совладать с внезапным, как удар, – как всегда ожидаемый и все-таки неожиданный приступ эпилепсии, – накотившим горьким чувством добровольной отверженности, извечной отстраненности, в который раз ощутила этот горб, не дающий разогнуться, эту память, которую отшибить невозможно, ибо она не в голове даже, а в токе крови, в тонах прокачиваемой моим сердцем крови...

Наконец расплатились и вышли. Шарманщик заиграл какую-то жеманно-приседающую мелодию, будто открывал новую главу, предвещал новый рассказ, распахивал новую картинку.

И эта новая картинка возникла в конце улицы. К нам, покачиваясь и наклоняя стан, приближалась высокая пожилая брюнетка в диковинном платье из зеленого атласа, в облегавшем лифе, пышной юбке, присборенной по низу двумя большими бантами.

Пританцовывая, слегка как бы вальсируя, эта фигура все приближалась, и в какой-то момент стало ясно, что это – пожилой коксинель, в каштановом завитом парике, в туфлях на каблуках, с крупными зелеными бусами на морщинистой короткой шее. Руки – жилистые, с жесткими мужскими локтями и сильными грубыми кистями – были хоть и украшены браслетами, а может быть, именно поэтому нехороши и жалки...

Вытаращив глаза, мы с Мариной глядели на это чучело.

– А, – сказала Алла, – ну, это неперменный персонаж всех местных празднеств. Роберта. Давненько я его... ее... не встречала, думала уже, что-то случилось. Но вот, оказывается, ничего... здоров... ва...

За коксинелем бежала пестрая кошка, с изумительно плотной блестящей шерстью, разукрашенной природой так, как только вязальщицы ковров умеют сочинить вензеля и кренделя

на ворсистой глади... Кроткая ее глазастая морда была поделена на рыжую и черную половины точной вертикальной полосой... Она бежала за странным своим хозяином... хозяйкой, не отставая ни на шаг...

Существо подошло к большой компании девушек за столиком одного из кафе и проговорило несколько слов задорно-грубоватым своим баритоном.

– Говорит: «Девочки, а где же ваши мальчики?» – перевел Дима.

Оживленно и доброжелательно болтая с хохочущими девушками, коксинель слегка приподнял подол, показывая что-то под юбкой, и те, наверное, уже знакомые с этим персонажем, одобрительно и даже восхищенно закивали, зааплодировали.

Дойдя до нас, коксинель наткнулся на мой взгляд и, видимо, приняв писательский охотничий восторг за что-то иное, снова приподнял подол платья, демонстрируя мне ногу в высоком чулке, оканчивающемся кружевами. Нога неожиданно оказалась стройной, чулок красиво обтекал ее, кружева зазывно оперяли длинную ляжку.

Я показала большой палец.

Довольный, он двинулся дальше вниз по улице, останавливаясь у бочек с молодым вином, балагуря и обнимая туристов, охотно фотографируясь с ними...

– He, altes Mobel! – как старого собутельника, окликали его местные торговцы...

– Самое интересное, – сказала Алла, – что он ведь не всегда таким был... Он, между прочим, отличный массажист, много лет работал в том санатории, ну, о котором я рассказывала... Был нормальным мужиком...

– А что же стряслось с этим мальчиком? – спросила сердобольная Марина.

– Да бог его знает – как это все происходит... – сказал Дима. – Таинственные превращения психики...

– Ну да, таинственные! – возразила Алла. – Мне бабы рассказывали, там что-то связано с личной драмой... Какое-то крушение надежд...

– Послушай, душа моя, – шутливо сказал ее муж. – Мало ли у кого какие крушения... Не все же мужики после крушений юбки на себя напяливают...

Я оглянулась: коксинель Роберта в своем зеленом атласном платье, покачиваясь и приседая, уходил в ослепительную перспективу из тесно сдвинутых в улицу, оперенных геранью каменных фахверковых домов. Он уходил не оглядываясь. Ковровой выделки кошка с располовиненным лицом Арлекина неотступно бежала за ним... И вдруг все это: синий ручей неба вверх, солнце на белой, пересеченной черной деревянной балкой стене, уходящий коксинель, его неизвестная мне драма, его половинчатость, его сильные руки массажиста... – все это разом во мне отозвалось дрожащим чувством смутного стыда за собственную душевную половинчатость, за то, что мне так нравится все это чистенькое, игрушечное, нарисованное, почти ненастоящее и, наоборот, – не нравятся наш средиземноморский мусор, панибратство, расхристанность и ненадежность... За то, что я не в ладу с собой, за то, что столько жизней несу в себе, усталых от этого тесного соседства жизней...

* * *

...И плохо спала этой ночью, хотя номер в деревенской гостинице, который сняли для меня организаторы выступления в Трире, оказался совершенно домашним: комната над трактиром в старинном доме семнадцатого века – просторная, с тяжелыми деревянными балками на потолке и стенах, со старым деревянным шкафом и комодом, покрытым крах-

мальными салфетками. Однако пивной зал на первом этаже до полуночи гудел голосами, и гул этот то и дело пресекался дружной песней и стуком пивных кружек по столам...

Задремала перед рассветом... Во всяком случае, перевернувшись на живот и обняв подушку, еще-уже услышала резной и отчетливый петушиный зов на соседней улице...

Мягко моего затылка коснулись теплые и сильные ладони, прошлись по плечам, бегло расправляя их, легко разминая напряженные мышцы... Затем движения стали более ритмичными, пальцы требовательней и сильнее...

– О майн гот, что с твоим позвоночником, это просто ужас... – говорил надо мной по-русски коксинель Роберта, продолжая массировать мне спину и плечи своими мощными ладонями... – Весь плечевой пояс... это бог знает что...

– Вот здесь... да-а... загри-и-вок... – жаловалась я ему, – такая мука... я все время оглядываюсь...

– Почему? Ну-ка, расслабь плечи... Вот так... гут... гут... Почему оглядываешься?

– Ищу дворы... здесь же нет проходных дворов...

– Майн гот, зачем тебе проходные дворы?! – удивлялся он.

– Как – зачем? А уходить от погони?

– А ты не оглядывайся... – приговаривал он, разминая властными и милосердными ладонями мои плечи, – нет-нет, херцлихь, никогда не оглядывайся...

Рассветный петух своим криком, словно лобзиком, выпиливал на сером небе шпиль и высокие сланцевые скаты деревенской кирхи.

Я спала на животе, раскинув руки, зависнув над благословенной Твердью, над щетинкой лесов с воткнутой в ущелье гребенкой римского акведука. И не оглядывалась... Совсем не оглядывалась.

* * *

Бармен в Доме литературы города Лейпцига варил отличный глинтвейн – такой, каким когда-то в моей молодости варил его один близкий мне, давно уже умерший человек, а именно: с гвоздикой, корицей, лимонной цедрой и брошенной в бокал напоследок декадентской долькой кислого яблока, добавлявшего неуловимую нежность к послевкусию.

И все прекрасное новое здание, построенное по проекту известного немецкого архитектора, было продуманным и удобным в каждом отдельном его помещении, в каждом уголке. Например, сейчас мы с редактором моей книги, только что изданной на немецком, и с переводчиком Карлом, обходительным молодым человеком, сидели за столиком на деревянной террасе, выходящей в небольшой, но благодаря пяти сохранным старым ивам эпически прекрасный и неуловимо горестный внутренний парк. И пили вкуснейший глинтвейн, рассеянно поглядывая на лужайку (я сидела полубоком, и мне приходилось оборачиваться), где на траве шла репетиция какой-то пьесы.

Режиссер – как водится, с косичкой, с бородой и в очках, – похожий на всех режиссеров в мире, и плохих и хороших, но бессильных изобрести какой-либо неожиданный штрих для своей внешности, а заодно и для своей профессии, – время от времени вскакивал с земли, подбегал к актерам и, жестикулируя, говорил быстро, бурно, но выдыхался, возводил глаза к небу, хватался за голову, опять валился на траву.

Один из актеров, похожий на пожилого русского пьяницу, отрабатывал никак не удающуюся мизансцену, которую можно было обозначить как «внезапная смерть»: он застывал, вытаращивал глаза, что-то гортанно выкрикивал и падал под деревом – это была плакучая ива редкой, изнемогающей красоты.

Под соседним деревом, с листьями роли в руках, в бездействии ждал огненно-рыжий юноша лет двадцати. На скамейке неподалеку сидела молодая актриса – она не участво-

вала в этой сцене, отдыхала, покачивала ногой, курила... Затем минут пятнадцать старый с молодым репетировали еще один узел пьесы, по-видимому ссору: вскрикивали, размахивали руками, что-то друг другу доказывали...

– Народный театр, – пояснил Карл в ответ на мой взгляд и сделал неопределенный жест рукой, как бы объясняя всю эту нескладуху именно ее народностью, с которой что возьмешь?

Наконец режиссер поднялся на ноги с недовольным выражением на лице, прищелкнул – и мизансцена поменялась.

Все три артиста – старый, молодой и девушка – образовали треугольник и, стоя спиной друг к другу, глядя в разные стороны, монотонно и глухо бормоча, стали увеличивать звук и ожесточать интонацию и вскоре уже отрывисто орали вразнобой, все громче и громче. Глубокий грассирующий голос пожилого артиста, чистый и звонкий молодого, сливаясь в fortissimo с подвизгивающими вскриками голоса женского, взмыли в оглушительный лай...

Я застыла, привычно ощущая, как напрягаются плечи и немеет затылок...

– Давай поменяемся местами, – предложил Карл. – Ты все время оборачиваешься, тебе, должно быть, интересно... Хотя, поверь, там еще нечего смотреть...

* * *

Улетала я, как обычно, из Берлина. Водителем вызванного такси оказалась женщина – крепкая, широкая в плечах, в животе, в бедрах, – какой-то былинный богатырь в юбке. Легко, словно посылку, она подняла мой тяжелый чемодан, закинула в багажник. Я настолько оробела, что по дороге в аэропорт несколько раз пыталась затеять с ней светскую беседу, например зачем-то назвала Берлин красивым городом.

Она отвечала важно, невозмутимо, растягивая буквы: «Йа-а-а, йа-а-а...»

Занялось раннее утро, уже схваченное морозцем. Машина свободно мчалась по пустому городу, останавливаясь только на красном. Светофоры выкатывали по зеленой горошине, и мы снова неслись вперед.

Как обычно, в аэропорту Шёнефельд, перед входом в то крыло, где регистрируют и отправляют израильский самолет, пассажиров встречало дуло танка. Мне приходилось улетать рейсом компании «Эль-Аль» из Амстердама, Рима, Венеции, Парижа, Мадрида... Но только в заботливой Германии я видела расставивших ноги автоматчиков между этажами, охранника в ватнике, уныло бредущего с собакой вдоль сетки забора, двоих верховых на лошадях.

С утра лег туман, и оловянная от инея трава чуть курилась седым дымком...

Я смотрела сверху на летное поле из огромного окна того отдельного пустынного отсека, куда загнали израильтян, слышала картавый и шершавый говор иврита за спиной.

– Ну что... они постараются перехватить этот заказ... – Рядом со мной, также глядя на летное поле и одновременно разговаривая по мобильному, стоял высокий пожилой мужчина, абсолютно лысый, в роговых очках, с подвижной суховатой физиономией, из тех, что как бы скроены по лекалу вечной усмешки.

– Нет, дорогая моя... немцы обычно выполняют что обещали...

В моей голове кто-то – вслух – произнес слово: «архитектор». Я не удивилась. У меня нет никаких способностей к парапсихологии, я далека от ясновидения и вообще не люблю предсказаний, столоверчений и душевных бесед с призраками. Но изредка в тесном пространстве моей головы, где-то между ушами и лбом, кто-то нехотя, незнакомым голосом, чаще мужским, чем женским, именно вслух, а не мыслью проборматывает слово-два, совершенно не имеющие отношения к данной минуте. Если удивиться и переспросить: «Что-что?» – никто тебе ничего разъяснить не станет, будто шкодливого ангела, произнесшего

слово, уже и след простыл: так, пролетал себе над моим чердаком, крикнул в слуховое оконце и дальше полетел.

Пожилой господин убрал мобильник в карман плаща, побарабанил пальцами по стеклу, проследил взглядом за солдатом с собакой, трусцой бредущими вдоль ограды, и вдруг сказал, не глядя на меня:

– Немцы так старательно чураются своего прошлого, так истово пытаются избыть его, что в этом старании неизбежно повторяют некоторые внешние приметы прошлого, даже если те означают противоположные намерения.

То, что он одной фразой сформулировал мои смутные ощущения, просто потрясло меня. Неужели он думал над этим так же напряженно, как и я...

– И это очень вредно для здоровья народа.

– Какого народа? – спросила я.

– Немецкого, – сказал он.

Объявили посадку...

– ...Ничего, если я сяду тут, рядом? – спросил он, когда уже велели пристегнуть ремни и выяснилось, что место около меня осталось незанятым. – Ничего не имею против детей, но тот младенец явно собрался орать всю дорогу... – Он мотнул бритой головой в направлении своих бывших соседей, откуда и вправду раздавался благой ор здорового израильского дитяти полутора-двух лет.

После взлета он достал из портфеля журнал BAUMEISTER и минут двадцать листал его, останавливаясь на каких-то фотографиях и чертежах. Я удовлетворенно поздравила себя с чистой работой моих таинственных осведомителей.

По проходу повезли напитки. Я выбрала апельсиновый сок, мой сосед взял сухого красного... Когда стюардесса везла свою тележку обратно, он остановил ее и спросил:

– Но кроме этой кошерной бурды есть приличное спиртное?

И она принесла ему виски...

– А вот виски отличный, – отпив глоток, проговорил он, ни к кому не обращаясь... Перевернул журнальный лист и стал внимательно читать какую-то статью...

– ...Решением ЮНЕСКО Тель-Авив включен в число памятников мировой архитектуры, – вдруг проговорил он так же безадресно, словно бы себе самому, как и раньше, в аэропорту.

Но поднял голову и впервые взглянул мне прямо в глаза. У него был жесткий, насмешливый и даже вызывающий взгляд.

– Тель-Авив? – удивилась я сдержанно.

– Ну да... Это же столица «баухауза»... Во всех иных местах почти весь «баухауз» разбомблен в годы войны...

– Верно... Тель-Авив ведь не бомбили... А вы – архитектор?

– Архитектор, да... – пробормотал он. – Назовем это так. – Он налил себе еще виски... – Вы не хотите? Напрасно, очень удачный сорт... Теперь наши под это знаменательное событие выколотят из ЮНЕСКО полагающиеся средства и хоть что-то отреставрируют...

– Ага, значит, все эти грязные коробки на Алленби, на бульваре Ротшильд – памятники архитектуры? – уточнила я.

Он усмехнулся.

– Ну-ну, поаккуратнее, пожалуйста... Третий этих грязных коробок понастроил мой отец... А он был архитектором с большой буквы, одним из родоначальников стиля... К тому же приволок в наши пальмы свою немецкую тоску... «Омниа меа мекум порто», – глухо добавил он... – Вы правда не хотите глоток виски?

– Нет, спасибо... – Я с любопытством взглянула на него, решаясь задать вопрос... – А вы, стало быть... от этой тоски избавлены?

– О, да! – охотно и просто отозвался он... – В Германии сейчас оказался впервые после многих, очень многих лет... Исключительно по делу. А разные глупые мысли по поводу прошлого... отлично заглушаются отличным спиртным.

– Германия – замечательная страна... – вдруг проговорила я упрямо, словно он утверждал обратное.

Несколько мгновений мы молча глядели друг на друга. Он отвел глаза...

– Захотелось на старости лет увидеть наш дом... Идиотское желание.

– А вы родились до войны? – удивилась я. Он моложаво выглядел – возможно, благодаря этому суховатому крою внешности.

– Спасибо... Да, я родился до войны... и отлично помню наш дом на Кёнигсallee, знаете – в Грюневальде? Это был один из самых респектабельных районов Берлина. Мой отец был знаменитым архитектором, владельцем архитектурного бюро... И нашу квартиру отлично помню: огромная гостиная... рояль – вот тут, справа... мама хорошо пела, у нас постоянно музицировали известные музыканты... Многие из них потом музицировали у нас в Тель-Авиве, чуть ли не в том же составе... Те, у кого хватило дальновидности и мужества бросить все и бежать в Палестину. Остальные музицируют на небесах... М-да, гостиная... дальше по коридору – ряд спален... комната прислуги... Направо кухня, столовая... Отцовский кабинет... Библиотека... Кстати, где-то в семидесятых один из моих друзей, будучи в Германии, приобрел на аукционе книгу из отцовской коллекции средневековой иудаики: «Шевет Йегуда» Шломо ибн Верги, первое, Адрианопольское издание, 1553 года... Так-то...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.